

Сергей Могилевцев

Рассказы



**РЕКА
ПО ИМЕНИ
ЛЕТА**

Сергей Могилевцев
Река по имени Лета

«Accent Graphics communications»

2018

Могилевцев С.

Река по имени Лета / С. Могилевцев — «Accent Graphics communications», 2018

В сборник рассказов Сергея Могилевцева «Река по имени Лета» вошли такие известные вещи, как «Царь Ханаанский», «Первый учитель», «Старшая сестра», «Бедные родственники», «Зимний день в Ялте», «Мона Лиза», «Еврейское счастье». Рассказы Сергея Могилевцева всегда востребованы, они печатаются в толстых литературных журналах, переведены во многих странах мира.

© Могилевцев С., 2018

© Accent Graphics
communications, 2018

Содержание

Река по имени Лета	5
Первый учитель	16
Весна в Алуште	22
Мона Лиза	27
Царь Ханаанский	33
Пятно	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Сергей Могилевцев

Река по имени Лета

Рассказы

Река по имени Лета

Рассказ

Ночью он опять видел ее. Она наплывала на него, шумная, полноводная и широкая, и заполняла собой все, что было вокруг: дома, деревья, предметы, город, а также его сознание, уставшее от борьбы последнего времени. Это было самое главное – он уже давно устал, и эта река была для него спасением, ибо воды ее несли отдохновение и смывали усталость, избавиться от которой он уже не мог. Как Ганг, как великий Ганг, неожиданно подумал он, в воды которого входят паломники, чтобы смыть усталость от жизни. Как Брахмапутра. Нет, все же лучше, как Ганг, хотя Брахмапутра тоже звучит неплохо. Как река, смывающая усталость от жизни. От всех этих ненужных и досадливых мелочей, которые накапливались день ото дня, и превратились в усталость, избавиться от которой уже невозможно. Как просто, подумал он, о Боже, как же просто: войти в ее воды, и поплыть вперед, преодолевая течение, туда к иным берегам, к иному, скрытому за волнами берегу, который угадывается на той стороне, и служит отдохновением от всего, что раздражало последнее время. Отдохновением от жизни. Вот парадокс, подумал он, неужели в тех неясных предметах, в тех движениях, в тех картинах бытия, которые он ясно угадывал на том берегу, может заключаться отдохновение от жизни, давно уже ставшей постылой и пресной? Неужели одна жизнь способна заменить другую, от которой человек стремится куда-то уйти? А впрочем, почему бы и нет, какой здесь парадокс, это жизнь, это, черт побери, жизнь, хоть это и звучит, как парадокс, но другого слова он подобрать просто не может. Это Ганг, смывающий усталость от жизни одной, и предлагающий жизнь другую, которая будет совсем иная, и, очевидно, в чем-то намного лучше и чище, чем эта.

Потом он проснулся, и удивился, что его река куда-то исчезла, хотя он явственно ощущал свежее дыхание ее берегов. Он даже видел людей, которые, подобно ему, входили в ее воды, стремясь достичь противоположного берега, угадывающегося в неясной и туманной дали. Нет, сказал он себя, это не Ганг, и не Брахмапутра, это Лета, река жизни и смерти, и она обязательно вернется ко мне. Сон был всего лишь предчувствием, всего лишь предупреждением, и надо было готовиться по-настоящему, надо теперь быть наготове, чтобы не пропустить тот момент, когда она придет ко мне наяву. Он посмеялся этой мысли, радостно и легко, и стал постепенно входить в день, который был точно таким же, как дни предыдущие, и не сулил никаких перемен.

Утром он, как обычно, сел за стол, и начал писать, но потом отбросил перо, и понял, что писать ему не хочется совершенно. Он мысленно взвесил все, что написал до сих пор за всю свою жизнь, и поразился Монблану рукописей, связанных им в отдельные тяжелые пачки, и загромождающие все углы его комнаты. Как странно, подумал он, я издал из этих тысяч рукописей как раз то, что мне надо было издать, не больше и не меньше, самую суть того, что наиболее полно выражает меня, как писателя. Не было смысла издавать те ранние вещи, когда я еще учился писать, и бросался из стороны в сторону, берясь сразу за многое, и почти ничего не доводя до конца. Я извел многие тонны бумаги, на которую ушли тысячи гектаров прекрасного хвойного леса (он всегда, думая о бумаге, которую исписал за свою жизнь, почему-то воображал, что для производства ее использовался именно хвойный лес), – я извел столько бумаги, что ее с лихвой хватило бы на десяток гениев прошлого. Впрочем, гении заранее, еще до своего рождения, возможно даже в утробе, знали, что они должны написать. А я не знал, пока

не исписал тонны бумаги, и процесс создания моих самых лучших вещей занял, собственно, всего ничего, каких-нибудь семь, или восемь лет, не больше. Точно так же, как у гениев прошлого. Если бы я сделал это сразу, не исписывая предварительно тонны бумаги, я бы тоже был гением прошлого. А так я всего лишь литератор из настоящего времени, который написал все, что должен был написать, хоть и потратил для этого зря двадцать лет жизни. Впрочем, хорошо все, что хорошо кончается, ведь могло быть и хуже, и, выкинь судьба кости как-то иначе, я бы никогда не увидел те несколько книг, которые сейчас стоят у меня за спиной, и которые у меня уже никто не отнимет. Он повернулся на кресле, и посмотрел на книжные полки, где, среди прочих книг, стояли те несколько, которые он все же успел написать. Вот и чудно, сказал он себе, значит, я все же успел вскочить на подножку трамвая, а не остался на остановке, среди толпы, которая не знает, что ей делать, и готова стоять на месте хоть целый день, бесцельно и праздно глаза по сторонам. Подумав об остановке трамвая, он вдруг вспомнил о точно такой же остановке, в Москве, много лет назад, практически в другой жизни, когда только что приехал в столицу из провинции поступать в институт. Он считал тогда, что будет великим физиком, и старался во всем подражать Альберту Эйнштейну, портрет которого висел на стене его студенческого общежития. В букинистическом магазине рядом с почтамтом он купил книгу Эйнштейна, и читал ее целый день, сидя на скамейке у остановки трамвая, которая, казалось, навсегда с этих пор врезалась в его память. Это было на Чистопрудном бульваре, остановка постоянно заполнялась народом, и он, листая томик Эйнштейна, смотрел на него со стороны, с высоты своей гранитной скамьи, про себя краем сознания отмечая разных людей, многие из которых также навсегда остались в его памяти. Они были похожи на манекены, терпеливо дожидаясь своего номера, и ставили ноги на подножку трамвая так механически и так размеренно, словно снимались в фильме абсурда. Как странно, внезапно подумал он, тот век, когда он сидел на гранитной скамье, у входа в московский почтамт, просматривая томик Эйнштейна, сейчас стал веком прошедшим, словно бы история, неожиданно, стремясь перевернуть последнюю страницу, долистала-таки до конца свой календарь. В толпе манекенов, на остановке трамвая, терпеливо ожидающих свой номер, было, очевидно, немало таких, которым было все равно, стоять на месте, или куда-то ехать. И он, просматривая свой томик Эйнштейна, испытывал некое легкое презрение, некую волну отвращения, поднимающуюся из глубины его души, к этим людям, не знающим, как прожить сегодняшний день. У него само было столько планов и столько неосуществленных желаний, что ему не хватало даже ночи, чтобы все обдумать и все успеть, и он искренне презирал чужую праздность и чужое отсутствие идеалов. Над гранитной скамьей у входа в московский почтамт возвышался такой же гранитный памятник, и он сидел под сенью его целый день (это, кстати, была сень гения, на которого тогда он не обратил внимания), и даже часть ночи, наслушавшись на всю жизнь визга разворачивающихся на небольшом пяточке трамваев. Он досыта насмотрелся в глаза безликой толпе, праздной, жалкой, нерешительной, и одновременно нетерпеливой, смысл которой был заключен в праздности, нетерпении и ожидании, и границу между которой, а также самим собой, он совершенно осознанно провел именно в тот день. Боже мой, как же это было наивно! Как же это было построено на ожидании чего-то необыкновенного, может быть даже великого, может быть даже на ожидании славы, которая непременно к нему придет. Ведь он был так далек со своим томиком Эйнштейна в руках от нужд и мыслей этой толпы, пустой, бесцветной и жалкой, которой все равно, стоять на месте, или уехать в первом подошедшем трамвае. Как же это было похоже на гордыню наивного студента, незрелого, одержимого мечтами о величии и о славе первокурсника, тем более, что последующие события доказали как раз обратное! Тем более, что он, со своей гордыней, и со своим священным томиком Эйнштейна в руках, как раз и оказался человеком из толпы, безликим манекеном, ждущим неизвестно какого трамвая. Севшим в первый попавшийся номер, и отправившимся куда-то на край города, в места, о которых изначально даже не подозревал и не думал! Да, сказал он себе, глядя на скромный ряд

собственных книг, стоящих напротив него на книжной полке, я действительно оказался тем пассажиром, который вскочил на подножку чужого трамвая, и уехал в ту сторону, к той конечной станции своей жизни, о которой первоначально даже не мог и подумать. Не стоит, дружок, презирать толпу, жмушующая на крутом пяточке рядом с московским почтамтом в середине семидесятых годов прошлого века, похожую на собрание манекенов, даже если тебе и кажется, что им все равно, в какую сторону ехать, а сам себя ты представляешь Альбертом Эйнштейном, стоящим на пороге великих открытий.

После этого, после того, когда он понял, что ему все же удалось вскочить на подножку трамвая, и он может считать себя невероятным счастливымчиком, он сначала позвонил в областное издательство, которое готовило его новую книгу, и долго выслушивал объяснение директора. О том, как же все хорошо продвигается, и как немного осталось до самого завершающего этапа. По собственному опыту он знал, что на самом деле все будет с точностью до наоборот, и наверняка книга выйдет с каким-нибудь дефектом, пусть и маленьким, пусть и ничтожным, а до получения ее в типографии пройдет не меньше трех месяцев. Он поблагодарил директора за усердие, и, опять взглянув на скромный ряд своих собственных книг, стоящих на полке среди остальных, неожиданно подумал, что если река, приснившаяся ему ночью, ворвется неожиданно в его жизнь, засасывая в водоворот и утаскивая на глубину, эту новую книгу получать в типографии будет уже не он. Странно, но он не ощутил никакого сожаления по этому поводу, хотя совсем еще недавно необыкновенно гордился каждой своей новой книгой, и долгое время носился с ней, как с новорожденным ребенком. Это означает, сказал он себе, что тщеславие наконец-то покинуло меня. Или, по крайней мере, оставило на какой-то момент, и я смело могу входить в воды реки жизни и смерти, не оскверняя их своим внутренним непотребством, и спокойно плыть к тем неведомым берегам, о которых можно только догадываться, но увидеть которые не дано никому. Разобравшись еще и с этим вопросом, он услышал, как хлопнула дверь, и понял, что в дом из школы пришел мальчик. Мальчик появился в его жизни внезапно, его родила живущая в Москве дочь, и он какое-то время жил вместе с ней, а потом оказался в его доме, да так и остался здесь, принеся с собой массу новых вещей, о которых он раньше даже не подозревал. Он, собственно говоря, больше привык к девичьему обществу, к куклам, подругам, бантам, слезам и первым влюбленностям, а здесь все было совершенно иное, и ему какое-то время пришлось себя пересиливать, оценивая и принимая как равное это новое для него существо, стремительно обраставшее привычками, характером, вещами, друзьями, болезнями, выздоровлениями, и собственным взглядом на жизнь, с которым волей-неволей приходилось считаться. Впрочем, во всем этом были и положительные стороны, и одна из них состояла в том, что с мальчиком можно было гулять. Вообще-то долгие годы он гулял у моря с собакой, но потом они вместе с женой на несколько лет уезжали в Москву, и оставшаяся у родственников собака неожиданно умерла, предварительно отказавшись от воды и еды. Прямо как в классических романах, говорила ему в трубку расстроенная родственница, и он, глотая слезы, слушал в пол уха ее сбивчивые объяснения, понимая, что потерял, возможно, своего последнего друга. Потому что завести новую собаку у него уже не хватит ни духу, ни смелости, а на новых друзей просто-напросто не будет времени. Уж эти мне друзья, друзья, вспомнил он строчку из Пушкина. Он стал припоминать тех из них, кто предал его, и тех, кого предал он, и соотношение выходило примерно половина на половину. В этом было хотя бы малое утешение. И вот теперь, как-то неожиданно, и, главное, без всяких усилий с его стороны, у него появился новый друг. Это ненадолго, говорил ему внутренний голос, это продлится всего несколько лет, до тех пор, пока мальчик немного не подрастет, и у него не появятся собственные друзья. Не появится улица, компьютеры, школа и Интернет, не появятся первые девушки и первые увлечения, которые отодвинут дружбу с тобой на второй план, а, возможно, и вообще не задвинут ее в дальний ящик стола, из которого она выбраться уже не сможет. Ну что же, опять сказал он себе, тем более надо ловить момент, и дружить с ним здесь и сейчас, пока он еще всецело

твой. Пока ты можешь запросто пройтись с ним, как с маленьким щенком, вдоль берега моря, и даже разговаривать о таких вещах и проблемах, о которых уже давно не можешь разговаривать ни с одним человеком. С тех пор, как последний друг предал тебя, или, наоборот, это сделал ты, оставшись формально окруженным множеством приятелей и знакомых, а фактически совершенно заброшенным и одиноким писателем, изо дня в день бесцельно бредущим вдоль берега моря, и отыскивающим на его берегу очередные раковины своих романов, рассказов и повестей.

Первые прогулки вдоль моря, которые он совершал вместе с мальчиком, в чем-то действительно напоминали прогулки с собакой, поскольку они большей частью или молчали, или обращали внимание на совсем уж явные проявления вещей и событий. Такие, как полет и пикирование вниз рассерженных чаек, блеск солнца, удары волн, шорохи гальки и песка под ногами. Но постепенно, к очень большому его удивлению, разговоры их стали глубокими, и, если можно так выразиться, философскими, и он понял, что маленький щенок превратился в настоящего, и уже почти что взрослого человека. И что в тех мирах, где, очевидно, решался вопрос о жизни и смерти его собаки, просто решили сделать ему подарок, подарив сначала говорящего щенка, а потом уже и вполне взрослого человека. Он поблагодарил мысленно судьбу и богов за эту чудесную метаморфозу, и с головой погрузился в увлекательную игру из разговоров писателя с маленьким человеком, которому к этому времени исполнилось семь лет.

Вообще-то легче было писать книги, чем разговаривать с мальчиком, которому только что исполнилось семь лет. Поначалу он пугался, и не знал, о чем говорить, потому что не хотел быть героем известных стихов Маяковского, объясняющим крохе-ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо. Но без дидактики все же никак обойтись было нельзя, и он старался облечь свои поучения в шутивную форму, говоря нечто вроде такого:

– Береги хвост, не стой на линии огня, и не заглядывай в дуло своего пистолета, – вот те три правила, которые позволяют тебе прожить без меня.

– А разве ты куда-то уйдешь? – спросил у него удивленный мальчик.

– Все люди куда-то уходят, – ответил он ребенку, стараясь выглядеть как можно более добродушно. – Никто не живет вечно, и если я когда-нибудь отсюда уеду, – куда-нибудь далеко, в те страны, откуда никто не звонит, и не присылает даже коротеньких писем, – когда я уеду отсюда, эти три правила позволят тебе жить одному.

– Какие странные правила, – ответил ему мальчик, – и почему обязательно надо беречь свой хвост?

– Вообще-то надо беречь не хвост, а задницу, – сказал он ребенку, – но ты это поймешь немного позднее, а пока лучше запомни про хвост. Хвост обязательно надо беречь, это самое первое правило, оно гораздо важнее двух остальных, хотя они тоже очень серьезные, и ты не должен о них забывать.

– Напомни мне эти два правила, – попросил у него мальчик.

– Не стой на линии огня, и не заглядывай в дуло своего пистолета.

– Не стоять на линии огня, – это я понимаю, – сказал серьезно ребенок. – Это, прости меня, и ежу понятно, об этом по мультикам всегда говорят. А почему нельзя заглядывать в дуло своего пистолета?

– На самом деле ты не должен заглядывать вообще ни в какое дуло, будь то винтовка, висящая на стене (винтовка, висящая на стене, вообще самая опасная вещь в мире, она обязательно стреляет один раз в год), или лежащая рядом с тобой на бруствере залитого водой окопа. Но речь идет также и о базуках, и о гаубицах, и о пугачах, и вообще о любой штуковине, которая может выстрелить. Не заглядывай ей в дуло, потому что она обязательно выстрелит, и продырявит тебе голову.

– Но почему?

– Таков закон, мой друг, закон мироздания, хотя ты и не знаешь еще, что это такое, и не в наших с тобой силах его понять, и уж тем более отменить.

– Хорошо, – серьезно ответил мальчик, – я не буду заглядывать в дуло своего пистолета. Скажи, а в дуло игрушечного пистолета мне тоже нельзя заглядывать?

– Никакого, – ответил он маленькому собеседнику, – ни игрушечного, ни настоящего, разницы между ними нет никакой.

Он вдруг вспомнил про одного странного парня из их города, работавшего киномехаником в кинотеатре недалеко от моря, который всегда казался ему, да, наверное, и всем остальным, нелепым, и непохожим на остальных горожан. В городе было полным-полно таких нелепых людей, и он сам, несомненно, был одним из них, потому что выжить в провинции, не став слегка нелепым, и даже чуточку не сойдя с ума, не удавалось еще никому. Он сам выжил тут только благодаря тому, что время от времени бросал все, и уезжал куда глаза глядят, попросту бежал подальше от этих благословенных мест у синего моря, воспетых когда-то классиком. У него, к счастью, была такая возможность. А у других такой возможности не было, и они постепенно сходили с ума от идиотизма провинциальной жизни, и казались приезжим, а уж тем более своим, которые к ним достаточно присмотрелись, нелепыми, и вызывающими попеременно то сочувствие, то откровенную злобу. Таким точно был и этот парень из приморской киношки, нелепый, одинокий, мешающий всем своим странным и задумчивым видом, из десятилетия в десятилетие мозолящий прохожим глаза, живший, кстати, в прелестном, увитом виноградом и глицинией домике в глубине извилистой балки на окраине города. Таким точно был этот нелепый парень, прославившийся сначала своей нелепостью, и тем, что всем мозолил глаза, а после уж, под конец, что заглянул-таки в дуло самодельного пистолета. Переделанного, кстати, из игрушечного ружья в настоящий, заряженный боевыми патронами браунинг, и тот его тотчас же застрелил, согласно всем канонам этого страшного и вечного жанра. После этого, кстати, парень, которому, вообще-то, было уже за сорок, и он давно не был парнем, а был женатым, имел взрослых детей, а вскоре, возможно, имел бы и собственных внуков, – после того, как парень по оплошности застрелился, заглянув в дуло собственного пистолета, в городе стало как-то неуютно и сыро. В нем исчезло некое очарование, исчезла некая тайна, и какое-то время горожане ходили, словно бы опущенные в воду, не понимая, что же с ними такое стряслось. «Не спрашивай, по ком звонит колокол, – вспомнил он известные строчки, – он звонит по тебе!» И этот назойливый звон колокола по ушедшему нелепому парню в течении полугода звучал в ушах придавленных новостью горожан, вызывая в них неясные и темные чувства, и еще, пожалуй, желание смертельно напиться под вечер, и забыть все эти истории про застрелившихся по ошибке, а еще о настоящих самоубийцах, повешенных, утонувших и сошедших с ума, – историями этими был полон до краев городской фольклор. И только лишь через пол года, когда все успокоилось, и память о незадачливом стрелке немного утихла, в городе появился еще один не то помешанный, не то очень большой придурок, и занял освободившееся место, которое, как известно, пустым никогда не бывает. И это лишний раз доказывало ту непреложную истину, что природа, рождающая и гениев, и придурков, действительно не терпит пустоты.

– Вот так-то, друг мой, – сказал он опять замолчавшему и о чем-то задумавшемуся ребенку, – вот так-то, мой друг, не заглядывай в дуло даже игрушечного пистолета, и ты проживешь на свете гораздо больше других. Если, конечно, не сойдешь с ума, не познакомишься с какой-нибудь отчаянной девушкой, или не уплывешь по вечным водам великой реки Леты, которая в положенный час приходит к каждому, и волны которой так холодны, что похожи на расплавленный свинец, от которого бросает в жар, и может запросто загореться одежда.

– А что это за река? – спросил у него мальчик.

– Когда-нибудь я тебе подробней расскажу о ней, – ответил он ему, чувствуя, что на сегодняшний день поучений уже достаточно, – если, разумеется, успею это сделать.

Вообще-то, подумал он, я веду себя, как шекспировский Полоний, наставляющий собственного взрослого сына, отбывающего надолго в чужую страну. Слишком много во мне литературного и театрального, слишком много игры, я уже не могу просто так общаться с ребенком, и должен облекать это в форму литературного диалога. О проклятие этой страшной профессии! О проклятие вечных слов, которые проходят сквозь тебя, приходя ниоткуда, и ты вынужден записывать их, записывать с утра и до вечера, иначе в лучшем случае можно сойти с ума, а в худшем они просто испепелят тебя, и ты окажешься горкой сгоревших и обугленных листов, исписанных неизвестно кем и неизвестно когда! О проклятие избранной профессии, от которой можно избавиться только единственным способом: вступить в воды великой и прекрасной реки, и поплыть вперед, сжимая истертый в веках, но вполне надежный и необходимый в таких случаях обол – обычную плату старому пройдохе Харону, поджидающему тебя на той стороне со своей разбитой посудинкой! И как только он подумал об этом, уже наяву, а не во сне, воды реки опять ворвались в его комнату, и заполнили ее до отказа, засасывая в водовороты рукописи, книги, картины на стенах, и разную ставшую дорогой ему за долгие годы мелочь, которая поплыла сверху, уносимая течением неизвестно куда. Как жалко будет расставаться с милыми побрякушками, с удивлением подумал он, гораздо труднее, чем с самой жизнью! Вот парадокс: все эти нелепые и дорогие только тебе бумажки, письма, камушки, которыми двадцать лет назад швыряла в тебя на пляже случайно ворвавшаяся в твою жизнь женщина, и которые ты втайне хранишь, как самые дорогие тебе предметы, все эти значки, ключи, гвозди, которые собираешь ты на улице, и которые что-то для тебя значат, куски медной проволоки, приносящие тебе удачу, и огромное количество пуговиц, подобранных тобой на мостовых бесчисленных городов мира, старые ножи, статуэтки, какие-то щепки, суеверно хранимые тобой долгие годы, – все это удерживает тебя на плаву гораздо сильнее, чем твои рукописи и книги. Ты насквозь суеверен, и твоя жизнь писателя сопряжена еще с целым рядом нелепых и странных жизней, ничуть не лучших, а, скорее всего, гораздо более нелепых и пошлых, чем жизнь случайно застрелившегося киномеханика. Вот так-то, братец, только под конец человек понимает всю настоящую цену себе, только под конец из него и вылезает наружу все то, что копилося годами, и было неизвестно другим, да, пожалуй, и ему самому; в человеке гораздо больше жизней, чем считают это обычно, он в чем-то, возможно, подобен кошке, у которой, кажется, целых девять разных кошачьих сущностей, и это, конечно же, открытие, которым ты должен, как писатель, воспользоваться. Ну тогда еще рано, тогда еще не время позволять ей засасывать тебя в свой последний водоворот, и надо пожить еще хотя бы немного, хотя бы несколько часов, чтобы немного отдышаться, немного прийти в себя, и, может быть, последний раз прогуляться с мальчиком вдоль берега моря. И как только он подумал, что еще не пора, что еще не время, воды реки сразу же исчезли куда-то, и он остался один среди разоренной комнаты, мокрых рукописей и книг, и всех этих милых его сердцу несуразных вещей, всех этих камушков из прошлого, пуговиц, гвоздиков и кусков медной проволоки, упавших на пол и частично разбившихся портретов и статуэток, – всего того, что, оказывается, и удерживало его по-настоящему на плаву.

– Как мокро здесь у тебя, – сказал вошедший в комнату мальчик. – Ты что, разбил свой аквариум?

– У меня нет никакого аквариума, – ответил он, – и никогда не было, разве что в детстве, в твоем возрасте. Но я не советую тебе заводить аквариум, как не советую собирать марки, все это занятия для недоумков. Лучше гуляй с собакой вдоль берега моря, и знакомься с красивыми девушками, а взрослых и искушенных женщин лучше обходи стороной.

– Знаю, – сказал в ответ мальчик, – а еще когда я подрасту, мне надо отсюда уехать, лучше подальше, в столицу, иначе я сойду с ума, и собаку с собой мне надо обязательно прихватить; все это я знаю, ты мне об этом уже говорил.

– Неужели я тебе так много всего рассказал? – искренне удивился он, глядя на державшего в руках школьный портфель человека, с которым можно беседовать на самые разные темы, словно с друзьями, от которых уже ничего не осталось, кроме неясных воспоминаний. – А про ружье, висящее на стене комнаты, я тебе говорил?

– Да, и про ружье, и про задницу, которую надо беречь в первую голову, и про линию огня, на которой нельзя стоять, и про пистолет, в дуло которого не стоит заглядывать. Ты мне так часто об этом рассказываешь, что иногда кажется, будто ты не в своем уме.

– Это обычное дело для писателей вроде меня, – ответил он мальчику. – Просто я наставляю тебя на путь истинный, ты сам будешь делать это, когда подрастешь.

– Когда состарюсь?

– Нет, когда подрастешь, до старости мне еще далеко. Кстати, не хочешь ли прогуляться у моря?

– Очень меня этим обяжешь, – сказали ему в ответ.

Они оставили разоренную комнату, которую, очевидно, придется теперь убирать жене, оставили дома школьный портфель, и, взявшись за руки, пошли в сторону моря. Они всегда гуляли, взявшись за руки, это был такой ритуал, выработавшийся у них годами, еще тогда, когда мальчик был маленький, и они гуляли в Москве, у Водного Стадиона, рядом с прудами, где жила его дочь, и где он какое-то время жил, спасаясь в очередной раз от идиотизма провинциального города, и с удивлением присматриваясь к новому существу, неожиданно возникшему в его жизни. Пруды у Водного Стадиона хоть чем-то компенсировали отсутствие моря, без которого он обойтись уже не мог, хоть и твердил себе постоянно, что море вполне может заменить какая-нибудь большая река, или вот эти заброшенные пруды, чудом сохранившиеся в Москве. Со старыми трехсотлетними дубами, росшими у их берегов, с плавающими на поверхности утками, со старинной, наполовину разрушенной беседкой, камышами, лилиями, осокой, побегами остролиста, горечавки и папоротника, а также безликими высотками, стоявшими рядом с гладкой, не нарушаемой никакими волнами, водной поверхностью. Да, мне нужны волны, сказал он себе, волны и камни, облитые во время жестокого шторма белой шипящей пеной, и это искусственное водное хозяйство, сооруженное на окраине огромного мегаполиса лет триста назад, не может заменить вечно штормящее море, без которого я жить уже не могу. И поэтому, в очередной раз прожив в Москве несколько лет, вдоволь нагулявшись с мальчиком у прудов, написав роман и целую кучу пьес, и, самое главное, научившись держать за руку это новое, вошедшее в его жизнь существо, он опять вернулся в свою провинцию у теплого моря, чувствуя, что через какое-то время снова покинет ее. Потом к нему приехала жена с маленьким мальчиком, который, впрочем, успел уже подрасти, и они, взявшись за руки, стали гулять вдоль мокрых прибрежных скал, и он рассказывал ему всякие небылицы, одновременно пугаясь, что ребенок их не поймет, и восхищаясь собственной изощренностью, в других случаях и других обстоятельствах ставшей для него вполне обычной. Они спустились, взявшись за руки, с высоких холмов, на которых, собственно, и стоял город, и остановились на небольшой круглой площадке, где обычно останавливались всегда, расположенной посередине их затерявшейся в облаках высотки и покрытого пеной берегом моря.

– Этот город чем-то напоминает Рим и Москву, – сказал он притихшему мальчику, – он тоже, как и они, стоит на семи священных холмах.

– На семи священных холмах?

– Да, и каждый холм что-нибудь, да значит в истории этого города. На одном, вон том, что находится ниже, была когда-то построена крепость, с которой, собственно, город и начался, – видишь, от нее теперь осталась одна круглая башня в окружении корпусов бесчисленных санаториев? Когда ты вырастешь, ты будешь ненавидеть их точно так же, как и я.

– Ненавидеть корпуса санаториев?

– Да, за то, что они убили душу этого города, и одновременно любить эту последнюю круглую башню: все, что осталось от былой поэзии и славы этой прекрасной долины; если, конечно, не считать благословенных поэтом берегов, от которых, впрочем, тоже немного осталось.

– Почему я должен это делать?

– Ты мой наследник, – сказал он мальчику, – и должен будешь понять все, что я тебе говорю. Ты уже обречен на это, и никуда от этого тебе не уйти. Ты закодирован смотреть на мир точно так же, как я, смотреть моим глазами, это закон, который придуман неизвестно кем и неизвестно когда, и отменить который не в силах никто.

– Что еще за закон, расскажи, если можешь, подробней?!

– Наверное, это закон крови; мы с тобой одной крови, и со временем ты тоже научишься ненавидеть все эти бесчисленные санатории, всю эту бесконечную лакейскую цивилизацию, появляющуюся со временем в долинах любых городов и любых стран мира, и убивающую в них поэзию и красоту, которые лакеи особенно ненавидят. Видишь эту одинокую круглую башню на склоне холма, – сражайся за нее до последнего вздоха, до последнего патрона, и до последнего выстрела из своего будущего пистолета, как сражался за нее я, и, как видишь, к сожалению, проиграл.

– Ты проиграл сражение за круглую башню?

– Да, но я выиграл много других сражений. И в общем баланс потерь и побед в моей жизни оказался вполне неплохим. Я, как говорится, остался при своем, хотя, конечно, и хотел бы иметь намного больше.

– Так вот почему ты рассказывал мне про линию огня, про дуло пистолета, в которое нельзя заглядывать, и про хвост, который надо беречь?

– Да, я почерпнул все это из собственного опыта. Из опыта собственных сражений и битв, которые следовали одна за одной, так что на самом деле я давно уже боевой генерал со множеством орденов и наград, и, к сожалению, со множеством ран, давно уже мечтающий уйти на покой.

– Ты устал от сражений?

– Я устал от людской глупости и от этой лакейской цивилизации, которая напозаывает на мир моего детства, как бесконечная плесень, и которую не выжечь никаким огнем, кроме, пожалуй, огня беспощадного смеха. Я, видишь ли, всю жизнь смеюсь в тех сатирах и пьесах, которые пишу, словно каторжник, одну за одной, высмеивая глупцов и лакеев, плодящихся вокруг, как тараканы. Но, к сожалению, скорость, с которой распространяется плесень, и появляются на свет тараканы, гораздо больше той скорости, с которой стреляет моя древняя, повидавшая виды винтовка. Я, видишь ли, очень древний стрелок, засевший внутри этой круглой башни на склоне холма, и стреляющий по врагам уже много лет, так что руки мои от этой стрельбы изрядно устали, винтовка вся износилась, волосы изрядно поседели, а врагов, к сожалению, стало гораздо больше, чем было вначале. Глупость и хамство, мой друг, растут в мире в геометрической прогрессии, и допотопной дедовской винтовкой их одолеть невозможно.

– А чем их можно одолеть?

– Вообще-то, если честно, ничем, кроме личных примеров мужества обороняющихся в древних башнях стрелков, которые вдруг встают в полный рост, и идут на врага, не боясь уже ничего, пугая его своей отвагой и своим безрассудством, так что полчища врагов под стенами башни временно отступают, и миру дается необходимая передышка. Только лишь личный пример погибшего у подножия башни бойца, который поет в этот миг свою победную песнь, прославляя поэзию и красоту, способен на время остановить мировую глупость и хамство. Только лишь смерть поэта способна остановить их на время. Только лишь она, и больше никто.

– А ты поэт?

– К сожалению, да. И ты тоже станешь им, если захочешь.

– Нет, я стану эстрадным певцом, у меня, как ты знаешь, неплохой голос и слух.

– Все вы так говорите, а когда доходит до дела, берете в руки дедушкину винтовку, и идете защищать свою круглую башню. Ладно, пойдем, нам надо спуститься к морю, мы и так заболтались, потеряв много времени.

Они спустились к подножию холма, называемого по старой памяти Орлиной Горой, хотя никаких орлов тут уже давно не водилось. Зато последовательно, один за одним, жили три писателя, последним из которых был он сам. Существовала легенда, что всего на Орлиной Горе будут жить именно три писателя, после чего город ожидают невиданные катаклизмы, в результате которых он то ли погрузится на дно морское, то ли разрушится до основания. Он оказывался последним в этом тройном списке писателей, и от него, согласно легенде, зависела судьба целого города. Всех этих бесчисленных, так ненавистных ему санаториев, построенных на месте древних крепостей и оборонительных стен, а также дубовых и миндальных рощ. Всех этих забетонированных крымских берегов, которыми некогда так восхищался поэт, пляжей и каменных хаосов, которые существовали во времена его детства, и от которых теперь не осталось и следа. Одинокая, гордая, и абсолютно беззащитная круглая башня, та виртуальная и мистическая цитадель, в которой он долгие годы отбивался от натиска лакейской цивилизации, нахлынувшей, как мутный поток, в долину его детства и грез, и осквернившей ее своим зловонным дыханием, – одинокая круглая башня его грез и мечтаний, насквозь прострелянная с разных сторон, стояла на склоне холма, глядя срезанной верхушкой в сторону моря. И это было все, что удерживало его в этом городе. Не считая, конечно, мальчика. Но в мальчике текла его кровь, и, следовательно, он сможет выжить и сам, заняв со временем его место. Он вдруг поймал себя на том, что пускается в ненужные сантименты, и, чего доброго, может расплакаться от всех этих мыслей. Вообще-то он уже не раз ловил себя на том, что даже думать начинает литературно, стараясь красиво закончить очередную, пришедшую в голову мысль.

– Осторожней спускайся, – сказал он ребенку, – для семилетнего мальчика ты слишком беспечен, не зацепись за корни деревьев, или за какой-нибудь камень!

– Мне уже девять лет, – укоризненно ответил мальчик, – и я давно уже научился спускаться с гор. И подниматься вверх я тоже умею. Ты опять все перепутал.

– Вот как, тебе уже девять? – удивленно спросил он. – Как быстро бежит время! Скоро я стану тебе совершенно ненужным, улица, Интернет, и девушки из подворотни отнимут тебя у меня. Скажи, ты еще не начал курить?

– Нет, ты же знаешь, что у меня слабые легкие.

– Да, я это знаю. Хорошо, осталось уже немного, тем более, что все так ускорилось, будто кто-то специально подталкивает нас вперед.

Они спустились еще ниже, и пошли по склону холма совсем близко с морем, через миндальную рощу, от которой уже почти ничего не осталось, потому что вся она была застроена корпусами новеньких, выросших, словно из-под земли, санаториев. Когда-то здесь были овраги, покрывавшиеся по весне белым кипением миндальных соцветий, и в одном из них, наиболее глубоком, он наткнулся как-то на чудесный синий цветок, поднявшийся кверху на бледном и хилом побеге, растущий из кучи старых консервных банок, белых костей каких-то мертвых животных, и всяческой мерзости, принесенной сюда сверху, из города, весенними вешними водами. Он подумал тогда, что так мог бы выглядеть ад, и опущенная в него душа прекрасного, и одновременно очень грешного человека, взывающая кверху, к высшим и страшным силам, и молящая их о снисхождении и великодушии. По странному, и даже мистическому стечению обстоятельств, вскоре на этом месте вырос очередной, блестящий зеркалами и металлом отель, над входом в который было написано: «Рай». Вот так-то, подумал он, все в итоге перетекает одно в другое, белое становится черным, ад превращается в рай, а смерть человека есть всего лишь приготовление к чему-то иному, возможно к повторению жизни в какой-то новой и чудесной форме, исправляющей старые нелепости и ошибки, и открывающей

нам такие чудесные дали, о которых мы не смели даже мечтать. Пусть так, подумал он, пусть все будет именно так. Пусть сбудется легенда, и после меня здесь не будет уже ничего, один первозданный хаос, из глубины которого протянутся кверху бледные и хилые побеги, дающие начало новой жизни. Пусть все повторится сначала, и возможно через какое-то время этот девятилетний мальчик вновь пройдет этим путем, ведя за руку точно такое же юное, но уже самостоятельное существо. Жизнь и смерть. Ад и рай. Башня, прострелянная насквозь из окон обступивших ее санаториев, и прекрасная заветная долина у моря, в которую еще не вступила нога человека. В этот момент они уперлись в шлагбаум.

– Дальше дороги нет, – сказал ему мальчик.

– Ты ошибаешься, – ответил он ему, – здесь как раз и начинается настоящая дорога. Ты чувствуешь ее присутствие?

– Кого?

– Великой реки по имени Лета, с которой все начинается, и все заканчивается на земле, и воды которой уже давно плещутся у наших с тобой ног?

– Здесь нет никакой реки, – ответил ему мальчик.

– Вот там, внизу, совсем близко, в каких-нибудь двухстах метрах от нас.

– Прости, но я ничего не вижу.

– А ты приглядиись внимательней, – сказал он ему. – Вот видишь, видишь, она уже рядом, и наши ноги уже вступили в ее чудесные воды, а там, вдали, почти что на другой стороне, находится лодка со старым лодочником, одетым в ветхий, совсем изодранный от непогоды хитон, которая плывет в нашу сторону.

– Да, я вижу его, – сказал, подумав немного, мальчик. – Какой он старый и древний, и эта рыбацкая сеть, в которую он обмотан. Как зовут этого рыбака?

– Это не рыбак, – ответил он, – это Харон, бессменный паромщик, перевозящий за определенную плату людей на ту сторону великой реки, где нет разницы между жизнью и смертью, и где, возможно, все начнется сначала.

– Мы должны ему заплатить?

– Нет, только я, и только самую малость, всего лишь один обол, это почти ничего, но без этого он не станет перевозить никого.

– И даже нас?

– Я же сказал, что только меня одного. Тебе еще рано знакомиться с этим почтенным старцем.

К этому времени река жизни и смерти уже поглотила собой все мироздание, и вокруг не было ничего, ни оврагов, ни миндальных деревьев, ни корпусов санаториев, ни обрыва, ведущего к морю, а был один лишь песчаный, поросший невзрачным кустарником берег, и свежесть от бесконечной глади воды, которая сулила освобождение и скорое обновление. Лодка сурового перевозчика, старого, морщинистого, загорелого дочерна, с накинутой на плечи рваной рыбацкой сетью, стояла уже рядом с ними. Глаза Харона смотрели на них и сквозь них, и в этих глазах, очевидно, если внимательно присмотреться, отражались не менее трех тысяч лет человеческой жизни. Рука перевозчика была протянута вперед, и он, вступая в утлый и старый челн, вложил в эту руку заранее приготовленную монету.

– Можно, я поеду с тобой? – еще раз попросил мальчик.

– Нет, я же сказал, тебе еще рано, – ответил он, – ты поедешь потом, позже, когда придет твое время. Ты ничего не забыл из того, чему я тебя учил?

– Я запомнил самое главное, – ответил ему мальчик, – беречь хвост, не стоять на линии огня, и не заглядывать в дуло своего пистолета.

Последние слова он уловил уже, находясь на середине реки, и ответил практически в никуда, в пустоту, догадываясь, и одновременно надеясь, что мальчик его услышит:

– Этого достаточно, чтобы жить дальше, и никакая премудрость мира не заменит тебе эти правила.

После этого он увидел противоположный берег чудесной реки, и то, что он увидел, было настолько чудесно и ослепительно, что у него тут же возникло желание воплотить это в слова, и, сев за письменный стол, записать их на бумаге.

2011

Первый учитель

Рассказ

В детстве он занимался тем, что скупал у своих сверстников подержанные плавки, и, запершись потом в комнате, совершал там некие таинственные манипуляции, о смысле которых мы искренне недоумевали, прислушиваясь к странным всхлипам и хрюканьям, доносившимся из-за закрытой двери. Помнится, я долго задавался вопросом, зачем ему нужны мои старые плавки, к тому же за такую несоразмерную сумму, о которой я в тот момент не мог даже мечтать? Он был сыном школьного завуча, обрусевшего немца, сменившего благозвучную фамилию на нечто шипящее и малоприятное, и деньги у него водились всегда, но ни я, ни остальные мальчишки не могли даже предположить, что этот худой долговязый подросток, никогда не ходивший с нами в походы, не участвовавший ни в одной драке, не нырявший с шатающихся волнорезов, и вместо слова «ажина» употреблявший нейтрально-ботаническое «ежевика», решил просто-напросто всех нас перетрахать. Впрочем, в те времена мы и слово такого не слышали никогда.

Помимо скупки поношенных плавок и непонятных манипуляций с ними за закрытой дверью, он еще собирал марки и, кстати, пару раз жестоко надул меня, не то продав (я выпросил с трудом у родителей деньги) по дешевке какую-то дорогую, украденную у другого мальчишки коллекцию, не то выманив ее у меня с помощью некоего иезуитского метода. Впрочем, и об иезуитах, как о возможности заочно перетрахать всех своих сверстников во дворе, ни я, ни мои товарищи в то время тоже не слышали. Мы относились к нему с некоторой завистью, поскольку, будучи сыном завуча, он имел доступ к таким потрясающим книгам, которые мы достать не могли, и частенько щеголял словечками, которые просто сводили меня с ума. Так, например, на вопрос, куда он сейчас направляется, этот долговязый прыщавый трахатель, презрительно сощурившись, цедил сквозь зубы, что намеревается в галактике картошку собирать. Помнится, я замирал в страшном ознобе от таких мудреных словечек, которые казались мне верхом самой невообразимой мудрости, а произнесший их представлялся носителем некоей иной культуры, до которой я, разумеется, никогда не смогу дорасти. В то время я вовсе и не помышлял о писательстве, и, как и все мои сверстники, собирал марки, ходил в походы, дрался на деревянных шпагах, подражая мушкетерам и неотразимому Д'Артаньяну, да заглядывал на стадионе через щель в заборе в женскую душевую, покрываясь попеременно холодным и жарким потом от увиденного внутри душного полутемного помещения. Он, разумеется, как может догадаться читатель, в женскую душевую никогда не заглядывал, ибо, купив очередные подержанные трусы, трахал за закрытой дверью их недавнего, ничего не подозревающего об этом владельца. Кстати, именно в то время его прозвали Гнусавым из-за навязчивой и противной манеры говорить что-то в нос, нахально смотря в глаза, и пытаясь прижаться к собеседнику всем телом, что у многих вызывало естественное брезгливое чувство, и навечно, казалось бы, закрепляло за ним репутацию скользкого и малоприятного человека. Он уже тогда был мастером разного рода провокаций, они, кажется, доставляли ему истинное удовольствие, и очень часто можно было слышать то в одном, то в другом конце двора его противный гнусавый голос, и видеть его самого, то торгующимся с очередным, отчаянно нуждающимся в деньгах мальчишкой за его старые плавки, то подбивающего какого-то мальчика разбить из рогатки стекло.

Совершенно, как уже говорилось выше, не подозревая тогда о том, что я когда-то начну писать, я, тем не менее, обрел в нем своего самого первого наставника в литературе, и случилось это вот каким образом. В одно прекрасное утро передо мной оказался почтовый конверт из далекого и загадочного Самарканда, на котором было написано мое собственное, никому, казалось бы, ненужное имя. Конверт пропах дынями, арбузами, мушмулой и другими дале-

кими азиатскими яствами, он впитал в себя загадки древних цивилизация, оставивших по себе таинственные развалины, в нем скрывались силуэты древних мечетей, дворцов, и даже, кажется, самого Тадж-Махала, и он, безусловно, был отправлен мне никем иным, как Судьбой. Во всяком случае, никакого иного объяснения этому загадочному посланию даже сейчас, спустя много времени, я дать не могу. Я был безвестен, заброшен, и абсолютно никому не нужен и не интересен, и было поистине невероятно, что некая таинственная самаркандская девушка с не менее таинственным и звучным именем решила со мной переписываться. Но дело обстояло именно так – это был призыв к дружбе, а, возможно, еще к чему-то более высокому, это был интерес ко мне со стороны далекой и неизвестной мне девочки, живущей за тридевять земель в волшебной и непонятной стране, которая решила посвятить меня в свои заветные тайны. Это было похоже на то, как какая-нибудь принцесса или фея из сказки осчастливила меня своим внезапным вниманием. Разумеется, то был подарок Судьбы, один из тех, что бывает крайне редко, возможно один или два раза в жизни, и за который необходимо хвататься обеими руками, ибо другого такого шанса превратиться из сопливого крымского мальчишки в нечто большее (в друга сказочной принцессы? в отважного рыцаря? в героя-любownika?) у тебя в ближайшее время просто не будет. И точно так же вполне естественно мимо этого факта не мог пройти Гнусавый, нюхом учуявший возможность великолепной и подленькой провокации.

Бог его знает, как он узнал о письме? Я, во всяком случае, предупрежденный неким таинственным и странным предчувствием, никому о нем не рассказывал. Но, тем не менее, факт остается фактом – мой друг Гнусавый (а он, кажется, был другом всех мальчишек в нашем дворе) каким-то образом узнал о чудесном письме, пришедшем ко мне из далекого Самарканда, и решил подействовать в сочинении немедленного ответа.

Я в то время был наивен, провинциален и глуп, и, разумеется, сразу же принял помощь Гнусавого. Он же обставил все театрально, заранее, разумеется, смакуя малейшую деталь предстоящего действия, вынес из дома небольшой стол, поставил рядом два стула, разложил аккуратно листы писчей бумаги, и под конец водрузил на стол чернильницу и ручку с блестящим, еще не использованным пером. Я глядел на все это, широко открыв глаза, напоминая замороженного удавом кролика, внутренне понимая, что сейчас начнется нечто гаденькое и отвратительное, сродни покупке у мальчиков подержанных трусов и плавок, и что надо немедленно забирать письмо и бежать отсюда без оглядки как можно подальше. Но, к сожалению, блеск новенького, воткнутого в ручку пера, внушительная обстоятельность чернильницы и кипы листов белой бумаги возымели-таки свое гипнотическое действие. Я покорно уселся на стул рядом с моим другом-Гнусавым и стал писать ответ фее из Самарканда, который он, шепелявя и пуская от наслаждения слюни, начал мне немедленно диктовать.

О наивный и доверчивый провинциал! О, как мог позволить я этому долговязому и прыщавому монстру диктовать письмо к моей фее, которая доверилась мне и протянула через тысячи километров свою смуглую изящную руку, унизанную кольцами и бриллиантами?! (Почему-то мне виделись именно бриллианты и кольца). Я, никогда до этого решительно и ничего не писавший, разве что посредственные диктанты, за которые получал не менее посредственные оценки, вдохновенно опускал в чернило перо, и писал под диктовку Гнусавого такую поразительную и непотребную дичь, что даже теперь, многие годы спустя, волосы на голове встают у меня дыбом, а лицо заливают густой румянец стыда. Я был в состоянии некоего навязчивого гипноза, и писал под диктовку этого монстра о том, что девчонками не интересуюсь вообще, ибо пресытился ими уже давно, что незачем ей посылать свои письма через такие большие пространства, доверяя свои тайны первому встречному, и что не лучше ли вообще остановить свой взгляд на каком-нибудь местном самаркандском юноше, который подходит ей больше в силу географического положения? Я описывал все пороки и слабости, присущие женскому полу вообще, я обличал в ее лице весь женский род со времен нашей прапраматери Евы и до сегодняшнего грустного дня, заодно уже говоря Гюльнаре (так звали мою далекую фею),

что она по ошибке запала не на того, на кого вначале хотела. Что я вообще хромоногий и слегка скособочен, что у меня два горба, я с детства сижу на коляске и пускаю тягучие слюни, а также заикаюсь, мучаюсь недержанием мочи, и часто бываю буйным до иступления, так что лучше ей переписываться с кем-то другим. Помнится, я писал под диктовку своего коварного друга еще много разных гадостей и подробностей как про себя, так и вообще про весь женский род, выводя Гюльнару на чистую воду, и представляя ее некоей маленькой и расчетливой интриганкой. Я писал все это, повторяю, помимо собственной воли, придавленный к столу неким странным, околдовавшим меня гипнозом, писал под диктовку мерзавца, отлично сознававшего уже тогда, что он именно мерзавец, и что останется таким до конца своей гнусной жизни. Я писал, и одновременно понемногу испытывал странное, сладостное чувство удовлетворения от самого процесса письма, от того, что так ладно сидит у меня в руке старая деревянная ручка с насаженным на нее новым блестящим пером, от того, что на бумагу капают большие чернильные пятна, а листы, один за одним, покрываются моим собственным, размашистым и нетерпеливым почерком. Я писал, краешком сознания понимая всю гнусность и мерзость написанного, но одновременно чувствуя постороннюю, необычайно мощную и сладостную, входящую в меня силу, противиться которой я не смогу уже никогда. Это была сила безудержного сочинительства, сперва существовавшая во мне в форме некоего примитивного графоманства, но потом, все более и более наливаясь подземными токами, бьющими в меня из невообразимых и непонятных глубин, превращаясь в способность внятно и складно писать. Сочиняя под диктовку Гнусавого мерзкий и подлый пасквиль, я брал у него свой первый в жизни урок писательского мастерства, ни сном, ни духом не подозревая об этом. Он был, со всеми своими гнусавостями, и гадостями моим Первым Учителем, наглядно, зримо и грубо показавшим мне, как можно складно и легко сочинять. Больше того, показавшим на практике, что чем более нелепым, сумбурным и алогичным будет процесс сочинения, чем больше отвращения и ненависти будет вызывать он в тебе в самый момент творения, тем в более великолепный шедевр выльется он потом; когда, устав от яростных тычков зазубренным пером в склянку с чернилами, ты вновь развернешь написанные и скомканные листы и со спокойной головой и отдохнувшим сердцем заново все прочитаешь. А я не сомневаюсь теперь, что тот первый мой литературный опыт, написанный под диктовку малолетнего циника, был именно шедевром, и что моя далекая Гюльнара, прочитав его, долго рыдала, навсегда потеряв охоту писать кому-либо любовные письма. Возможно, она вообще после этого не смогла никого полюбить, и провела всю свою жизнь старой девой, искренне ненавидя мужчин, и считая их всех до одного подонками и негодяями. Но, скорее всего, она была действительно феей, и в такой необычной форме (ибо никакой другой, по-видимому, просто не существовало) пыталась научить меня сносно писать. Спасибо тебе за все, далекая Гюльнара, кем бы ты не была в действительности, и прости меня, если сможешь, за те мгновения обиды и боли, которые, возможно, я тебе причинил!

Закончив писать, я обнаружил, что вокруг моего стола собрались все мальчишки двора, которые, разумеется, тоже участвовали в моем приобщении к литературе, и вносили свои коррективы в текст, который по своей язвительности, наглости и непотребству чем-то напоминал письмо турецкому султану, сообщая написанное казаками. Это, кстати, было недалеко от истины, ибо атмосфера и нравы двора, в котором я жил, мало чем отличались от таковых в Запорожской Сечи, которая, кстати, находилась от нас не так уж и далеко. Шуточки, смех, сплевывание на землю, подбадривание друг друга ударами локтями в бок и в живот, похабные словечки и скабрёзности в адрес моей Гюльнары и в адрес женщин вообще, – все это я видел и слышал словно сквозь сон, одурманенный той гипнотической силой, о которой уже говорил. Я был измотан и выжат, словно лимон, я позволил Гнусавому громко, при всех, придыхая, шепелявя и пуская от избытка счастья слюни, прочитать письмо еще раз, а затем аккуратно сложить его, и вместе со мной отнести на почту. Разумеется, опускал послание в почтовый ящик именно я, руководствуясь словами учителя: «Все, мой друг, должно идти строго по плану, и

каждый должен отвечать за любой свой жест и поступок. Раз ты автор письма, то и отсылать его должен именно ты. А вообще, старик, не жалея ни о чем, забудь об этой самаркандской девчонке, бабы есть бабы, и ничего, кроме сожаления, вызывать в нас не должны!» Но я, к несчастью, ничего не забыл, тягучее чувство стыда за содеянное, словно за некий гадкий и постыдный поступок, преследовало меня после этого еще долгие годы. Можно смело сказать, что это прилюдное приобщение к эпистолярному жанру и к писательству вообще перевернуло меня изнутри и сделало совершенно иным человеком. Меня, кстати, и во дворе стали звать не иначе, как писателем, и это прозвище, то забываясь, то вновь всплывая, переходило со мной из одной компании в другую, перекочевало в армию и в институт, и сопровождало во всех тех бесчисленных путешествиях и передвижениях по стране, которые я совершал, пока постепенно не превратилось в профессию. Все просто, хотя и через многие годы, встало на свои места, и я бесконечно благодарен Гнусавому, этому коллекционеру подержанных мальчишеских плавок, прилюдно трахнувшему меня посреди всего двора (а именно в этом и заключался метафизический смысл данного действия), за этот первый толчок, без которого, разумеется, я был бы совершенно другим. Я благодарен ему за этот прилюдный акт, сродни акту творения, за это красочное театральное действие, за проникновение в глубину моей неразвитой и темной души, в которой забрезжил еще неясный, но сладостный и манящий свет некоей путеводной звезды, лучи которой освещают меня до сих пор. Каждый в этой ситуации получил свою долю выгоды: я обрел новые горизонты, о которых даже не подозревал, Гнусавый вволю натешился, удовлетворив в очередной раз свой тайный и порочный инстинкт, мальчишки вволю поразвлекались, и только лишь несчастная Гюльнара, если она действительно в природе существовала, долго, очевидно, лила свои прозрачные восточные слезы, искренне не понимая, за что ее так незаслуженно оскорбили. Очевидно, беря во внимание последнее обстоятельство, Гнусавый сказал мне как-то, отведя в сторону, и по привычке шепелявя и гудя себе в нос: «Не дрейфь, пацан, ничего с этой девчонкой не будет. Поверь мне, уже через десять лет она станет толстой и некрасивой, окруженной целой кучей сопливых детей, с утра до вечера выбивающей коври, готовящей плов и пекущей лепешки для своего восточного мужа. Возможно, она вообще к этому времени разучится читать и писать, и не сможет вспомнить ни одной строчки из твоего письма, которое, поверь уж мне, кое-чего действительно стоит!» Кто его знает, может он и был прав, говоря такие слова?

Я потерял с ним связь на долгие годы, и уже спустя много лет, вернувшись ненадолго в свой небольшой город детства, застал Гнусавого в совершенно ином качестве. В стране произошли грандиозные перемены, названные почему-то не революцией, а перестройкой, и мой город у моря тоже не остался от них в стороне. Здесь кипели небывалые страсти, рождались свои небольшие партии, вспыхивали яростные споры и митинги, печатались в газетах обличительные статьи, и я, признаться, не смог стоять от всего этого в стороне. Совершенно неожиданно я вновь столкнулся с Гнусавым, который, как и следовало ожидать, оказался на противоположной от меня стороне баррикад. Вкратце история его жизни, руководствуясь теми сведениями, что мне удалось собрать, была следующей. Закончив после школы авиационный институт и получив диплом авиационного инженера, он из-за какой-то полутемной истории (похожей, возможно, на неприглядные истории с покупкой подержанных плавок) не стал работать по специальности, и вернулся в наш небольшой городок. Мне говорили, что в это время он сильно пил, совершенно пал духом, и, работая в школе учителем по трудам, абсолютно нелепо потерял несколько пальцев, отрезанных циркулярной пилой. После это он опустил уже окончательно, без дела слонялся по набережной, выпрашивая деньги у бывших своих учеников и товарищей детства, превратившись из Гнусавого в Беспалого, и, очевидно, пропал бы навечно, если бы о нем не вспомнили в известном ведомстве, трахавшем всех нас на протяжении слишком долгого времени. Собственно говоря, иначе ничего случится и не могло, ибо великолепные трахательные способности моего Первого Учителя пришлись как нельзя кстати

ко двору в этом зловещем и известном, к сожалению, всем ведомстве, в котором, кстати, работали бывшие его и мои товарищи детства. Учитель мой был обласкан и одарен материальными благами, к нему вновь вернулась былая нахрапистость и уверенность в своей безнаказанности, и он вновь, теперь уже вполне легитимно, получил возможность открыто трахать тех бывших дворовых мальчишек, которые глядели на него с противоположной стороны баррикад. Он стал супер-стукачом, супер-осведомителем, которого бросали на самые трудные, а порой и безнадежные дела. Он втирался в доверие к наиболее культурным, и особо интересовавшимся охранку людям, и, обольстив их своим интеллектом и шармом, которые вновь вернулись к нему, подводил их под гнусную провокацию, испытывая при этом, вне всякого сомнения, огромное физическое наслаждение. Он, безусловно, был моральным уродом, сексуальным маньяком, которому совершенно легально разрешили насилловать своих бывших друзей. И то, что в детстве совершалось в тайне, на расстоянии, за закрытой дверью, с помощью подержанных плавок, делалось теперь явно, с помощью иезуитских историй и откровений, где-нибудь в кафе за шампанским и стаканом портвейна, во время утонченной беседы. Он перетрахал множество культурных и высокоинтеллектуальных людей, получив от этого колоссальное, невыразимое удовольствие, опередив на сто очков вперед всех остальных маньяков и извращенцев. И что там примитивному насильнику Чикатило, насилующему и расчленяющему топором свои жертвы, перед этим высокоинтеллектуальным насильником, мастером изящной политической провокации? Что примитивным трахателям перед этим жрецом, этим авгуром изощренного траха, после которого его несчастные жертвы или сходили с ума, или кончали с собой, загнанные в невыносимую психологическую ловушку? Кстати, у него была жена и две прелестные дочери, отданные отцом учиться в столичные институты. Впрочем, дети за отца отвечать не могли.

Пикантная подробность, ставшая известной мне совершенно случайно: несмотря на свою новую кличку Беспалый, он в известном всем ведомстве по-прежнему звался Гнусавым, – как видно, из-за своей неистребимой уже детской привычки гнусавить на одной ноте какие-то, теперь уже псевдоинтеллектуальные пошлости и непотребства. Он научился неожиданно, словно из-под земли, выныривать у носа искомого человека, приликая к нему всем телом, подражая в этом другим стукачам, начиная трахать его прямо на улице, а потом, затащив куда-нибудь в угол небольшого кафе, добивать до конца своими псевдореволюционными откровениями. Признаться, и я на какое-то время поддался на эту его уловку, словно бы вновь околдованный той гипнотической силой, которая заставила меня писать несчастной девушке из Самарканда гнусное и отвратительное письмо. Впрочем, речь здесь идет не о перестроечных битвах, и не о том, чем закончилась революция в отдельно взятом городе, расположенном на берегу теплого моря. К слову сказать, она закончилась полным поражением революции и торжеством как того известного ведомства, которое перетрахало в стране всех и вся, так и самого Гнусавого (он же Беспалый), который теперь переплюнул всех Чикатило на свете и заслужил, возможно, того, чтобы его имя навечно было записано золотыми буквами в анналы охраны, которые, разумеется, где-то обязательно существуют. Речь, повторяю, не о революции, а о моем Первом Учителе, который, как оказалось, вовсе и не вырос в интеллектуальном смысле со времен моего баснословного детства, и разве что стал более опытным и изощренным, но не представлял уже для меня, как человек, совсем никакого интереса. Он был ничтожным, к тому же беспалым и гнусавым, стукачом и маньяком, трахавшим всех уже по привычке, на каком-то последнем надрыве, который, разумеется, в конце-концов должен был кончиться. Мне было жалко его, жалко его несостоявшейся жизни, жизни тайного извращенца и стукача, который оказался, как ни странно, моим Первым Учителем. Я покинул город своего детства, вновь уехав скитаться по странам и городам, время от времени получая о нем известия, которые то радовали, то огорчали, то вызывали во мне чувства брезгливости и сожаления. Впрочем, я не буду говорить о нем больше ни плохо, ни хорошо, ибо о Первом Учителе, как о мертвых, надо гово-

ритель только хорошее, или не говорить ничего. Спасибо ему за то, что помог мне открыть себя самого, и да спасет на Страшном Суде Господь его вечную душу!

2005

Весна в Алуште

Рассказ

Весна в Алуште, когда расцветают сады и воздух пропитывается ароматом трав и растений – это самое страшное время, которое с ужасом ждут обитатели этого города. Весна в Алуште разительно отличается от других времен года, например, от зимы, когда безнадежность не так велика и сквозь раскисшую грязь, слегка лишь припорошенную случайным снегом, все же просвечивает какой-то лучик надежды, упавший с блеклого и холодного неба. Отличается весна и от безумства лета с миллионами отдыхающих, везущих сюда огромные деньги, которые сводят с ума местных жителей, и создают у них иллюзию прочности и успеха, которая спустя всего лишь два месяца обернется горькими разочарованиями. Которая заставит вчерашних нуворишей, слепо поверивших в свое мнимое счастье, безумно пропивать случайные летние деньги, заработанные на отдыхающих, а потом скитаться по помойкам в поисках пустых бутылок и иного пригодного хлама, или вообще отправляться на заработки Бог знает куда, ибо жить в этом проклятом городе будет уже нельзя. О проклятость маленьких южнобережных селений, о безнадежность этих продутых ветром и пропитанных йодом и морской солью мест, о которой не подозревают приехавшие сюда гордые петербуржцы и москвичи! Бездумно тратящие свои баснословные по здешним понятиям деньги, и свысока взирающие на местных аборигенов, вынужденных жить в аду, хотя все почему-то принимают его за рай. Разительно отличается алуштинская весна и от осени, наполненной щедрыми дарами местной земли, и тоже создающей иллюзию некоего успеха, которая тоже вскоре рассеется и сгниет, как тот инжир и кисти спелого винограда, собранные с полей до последней ягоды, так что даже небесным птицам и бездомным зверям не останется на зиму ничего, и они так же, как и люди, у которых еще есть силы бежать отсюда, будут вынуждены податься подальше от этих гибельных мест. Ибо гибель в Алуште сочится повсюду: она поднимается из земли вместе с тальми водами, приносится непрерывными сквозняками, от которых все постоянно чихают и кашляют, она растворена в брызгах соленой воды, выбрасываемых морем на скованный бунами берег, – молчаливый, бетонный, омываемый мертвым, покрытым даже зимой пеной морем, – она растворена в прозрачном свете небес, безнадежнее которого, кажется, нет ничего на земле, ну и, конечно, она выползает, как каракатица, на алуштинский берег в виде липких весенних туманов, в виде дымки, заполняющей город от одного края и до другого и несущей с собой смерть каждому, кто хоть на миг глотнет этой белой и невесомой отравы. От этой липкой весенней дымки, которой тянет с холодного моря, нет спасения никому, она забивается в нос, рот и уши, она наполняет легкие и трахеи, она мешает дышать, и от нее сходят с ума, то кончая жизнь самоубийством в тишине душевной квартиры, то бросаясь с высокого утеса в холодное весеннее море, не в силах выдержать этого ежегодного кошмара, с регулярной неизбежностью приходящего сюда по весне и уносящего с собой сотни цветущих жизней, не сумевших приспособиться к этому вселенскому страшному апокалипсису. Весенняя дымка в Алуште сродни граду, землетрясению и морю, ее ждут, как ждут конец света, заранее зная, что миновать его невозможно, и придется наконец-то отвечать за все свои промахи и грехи. Дымка в Алуште выворачивает людей наизнанку, и они то начинают каяться в своих настоящих или мнимых грехах, то набрасываются на соседа, с которым мирно жили бок о бок годами, и убивают его тупым кухонным ножом, а потом или кончают счеты с собой, или бегут, безумные, не замечающие ничего, в горы, и живут там годами, превращаясь в отшельников, которым назад пути нет. Тот, кто имеет на сердце какую-нибудь обиду или злобу, начинает во время весенней дымки строить заговоры против центральной власти, надеясь на революцию, которая подсознательно есть мечта об освобождении от проклятия, наложенного на город неизвестно кем и неизвестно за какие

грехи. Тот, кто умеет, начинает писать стихи, и его безумные строчки сочатся такой болью и безнадежностью, что читающий их вспоминает невольно сурового Данта, живущего среди скал в такой же безнадежности и тоске. Весенние туманы, наползающие с моря на сушу, подобны средневековому дракону, подступающему к стенам средневекового города и требующего свою ежегодную дань в виде обреченной на смерть красавицы. Весенние туманы в Алуште требуют свою ежегодную жертву, и эта жертва им безропотно отдается, ибо противопоставить этому бедствию, этому мороку, этому наваждению, приходящему сюда каждый год, больше нечего. Весна в Алуште подобна вселенскому катаклизму и, безусловно, она есть наказание за грехи, которые несет на себе этот город.

Грехи этого города страшны и тщательно скрыты за маленькими подслеповатыми окошками неказистых строений, разбросанных по окрестным холмам, на которых, собственно говоря, и покоится город. Если дождливой осенью заглянуть через такое окошко внутрь этих строений, похожих не то на сарайчики, не то на клетушки, и в которых летом пускают приезжих, то невольно отшатнешься назад, пораженный безнадежностью, которой пропитано их убранство. Здесь безнадежно все: и пятна цветных репродукций, и куски пожелтевших обоев, и старые колченогие стулья, и растрескавшиеся половицы, и антресоли с обязательно приткнутыми на них лыжами, смысл которых в этих широтах неясен, и лежит, безусловно, в метафизической области. Здесь осенью люди не смотрят друг другу в глаза и норовят быстрее зайти внутрь своих маленьких крепостей, чтобы слиться наедине со своим личным грехом, суть которого состоит в мелкой гордыне маленького и брошенного на краю вечности существа, которое изо всех сил цепляется за бесполезные предметы своего южного быта, чтобы не свалиться в страшную пропасть, незримо разверзшуюся на краю этого города. Из мелкой гордыни одинокого жителя, прозябающего в ожидании близкого лета, вырастает гордыня целого города, и зимой она точно такая же, как и осенью, ибо осень здесь мало чем отличается от зимы: поникшие ветви деревьев, вечная небесная влага, грязь под ногами и вечные хибарки на склонах холмов в окружении унылых зарослей акации, лавров и кипарисов. Город живет своим летним безумием, город ждет нашествия миллионов жаждущих развлечений гостей, город смакует его в течении девяти безнадежных, наполненных гордыней и отчаянием месяцев, и именно за эту гордыню насылаются на город туманы весны, страшнее которых здесь нет ничего.

К середине мая туманы настолько парализуют город, что у людей и природы просто не остается сил, чтобы дожить до завтрашнего утра: миндаль и яблони цветут по привычке, инжир вообще не решается выпускать свои ажурные листья, а люди ходят, подобно сомнамбулам, и натываются в хлопьях тумана то друг на друга, то на углы старых домов, не видя и не слыша уже ничего. Впрочем, и деревья, и люди знают о всеобщем грехе этого города и неплохо научились здесь выживать, понимая, что в конце концов морок развеется, вылезшее из моря чудовище опять уползет в свою подводную нору, и они окунуться в благодатное лето, ради которого и претерпевали все эти адские муки. Хуже приходится тем, кто очутился здесь недавно, чужаки редко переживают тяжесть весенних туманов и гибнут либо под колесами машин, ослепленные разлитыми в воздухе хлопьями вязкой воздушной пены, либо сходят с ума и кончают жизнь самоубийством, думая, что проклятие весны не кончится никогда. Именно в пик этих весенних безумств, ближе к вечеру, можно увидеть пробирающегося наугад по городу молодого человека, бледного и худого, который тщательно прижимается к стенам домов и даже в тумане боится быть узнанным, хотя знакомых у него не так уж много. Это Виктор К., московский поэт, который приехал в Алушту несколько лет назад в надежде подлечить летом растрепанные в столице нервы, да так и застрял в этом городе, парализованный его безнадежностью, которая, кажется, засосала его навсегда. Он снял дешевую комнату у какой-то малоприятной старухи, радуясь ее дешевизне, и с удовольствием несколько дней гулял по летнему городу, купаясь в море, а вечером фланируя по набережной в толпе остальных отдыхающих. Он чувствовал, как силы постепенно возвращаются к нему, и он может, прожив здесь еще несколько

дней, возвратится в Москву, к жене и своей ежедневной работе поэта. Он стал каждый день лихорадочно писать, исписывая блокнот за блокнотом, не успевая даже закончить очередное стихотворение, и тут же начиная писать следующее. Работа так увлекла его, и плата за квартиру была так мизерна, что он решил остаться в Алуште до осени, и сообщил об этом жене, которая, кажется, не была против этого. Но осенью пошли дожди, как-то неожиданно, прямо с первых дней сентября, и он был так измучен предыдущей работой, которая тяжелой стопкой блокнотов лежала перед ним на столе, что решил пожить здесь еще немного. Но это немного продолжалось еще и еще, изо дня в день, из месяца в месяц, а он все так же оставался в Алуште, парализованный ее дождями и осенними грязями, чувствуя, как они засасывают его все глубже и глубже. Он перестал отвечать на звонки жены и на ее письма, живя у старухи почти что задаром, все больше и больше погружаясь в тайную жизнь этого страшного места. Он гулял по полупустому, залитому небесной влагой городу, заглядывал в окна людей, поражаясь той убогости и безнадежности, которая глядела на него из глубины полуслепых мокрых стекол, подолгу стоял на берегу пенного моря, наблюдая полеты чаек и их пикирование в самую гущу волн, а потом стремительный, с криками и яростными взмахами крыльев, уход в высоту. Как-то он увидел в особенно сильный шторм какого-то странного лебедя, который рядом с причалом качался на огромных волнах, то погружаясь на невероятную глубину, то чудесным образом взмывая к самому небу, и понял, что он точно такой же стойкий лебедь, который выдержит все, и которому поздно возвращаться назад. Постепенно он познакомился с такими же, как сам, безнадежно застрявшими здесь людьми, и они составили круг его общения, который, впрочем, был ненадежным и зыбким, ибо приятели его держались на плаву изо всех сил, как и он, а когда у них не хватало этих сил, сходили с ума, или резали себе вены, и их не всегда могли спасти в местной больнице. Он часто ходил в душевые и низкие кабачки и пивные, куда ходили местные жители, которые не уехали никуда до следующего сезона, и которым надо было протянуть до него, до всеобщего безумия лета, которое кажется бесконечным карнавалом, и во время которого не хочется думать об осени. В городе почти никто не работал, здесь жили люмпены, роящиеся с утра на помойках, а потом пропивающие вырученные за собранные бутылки деньги, или торчавшие на берегу со своими нелепыми удочками, которыми ничего путного поймать было нельзя. Здесь жили деклассированные элементы, подобно ядовитой пене качающиеся на волнах у забетонированных берегов, с искусственными, сотворенными из мертвого гравия, пляжами, жили опустившиеся женщины, полубродяжки, полушлюхи, с каждой из которых можно было задаром, налив ей всего лишь стаканчик вина, пойти к ней домой, а утром, даже не попрощавшись, спокойно покинуть ее убогий и жалкий мирок: с лубочным ковриком над кроватью, дешевой кухней и виноватой улыбкой уставшей от жизни подруги, растерявшей за ночь всю свою недорогую косметику. Потом пришла зима, мало чем отличающаяся от осени, и он пережил ее в полной уверенности, что навсегда погиб и возвратится в Москву больше не сможет. Весеннее возрождение вселило в него некоторые надежды.

Солнце высушило промокшие за зиму старые татарские дома, в одном из которых он жил у своей молчаливой старухи, и стали видны все изгибы векового дерева, покосившиеся и потемневшие балки, растрескавшиеся ступени и полуразбитые витражи, которые лет сто назад были нормальными и цветными. Вдали призывно синели крымские горы, название которых он уже выучил наизусть: Чатыр-Даг, Демерджи, Бабуган, – а рядом плескалось остывшее за зиму море, и он, вспомнив о том, что недавно еще был поэтом, бродил по его берегу и собирал яркие камушки и ракушки, вызывая этим недоумение и брезгливость местных жителей. Которые лихорадочно готовились к летнему сезону и чинили то старые поломанные кровати, то покосившиеся ступени своих татарских хибарок, вывешивая на заборах матрацы и стеганные одеяла и превращая город в некое подобие балагана. Следом за этим показали зеленые листья, зацвел миндаль, вишни и яблони, и Виктор вновь почувствовал вкус к жизни, который, казалось бы, навсегда покинул его. Он, правда, ощущал в природе и в море некое напря-

жение, некое ожидание чего-то страшного, которое неизбежно должно обрушиться на людей и на природу, и которое чутко уловил своими обнаженными нервами поэта, но не знал еще, что же это такое. А потом со стороны моря ежедневно, как неизбежность, стала наползать с утра белая дымка, накрывающая к полудню целиком весь город, и он видел, как люди заходя пьют, а потом шатаются, словно сомнамбулы, по городу, с незрячими, пораженными ужасом и страхом глазами, натываясь друг на друга и на стены домов и жалея, что они не продали по дешевке все свое жалкое имущество, и не убежали отсюда, куда глаза глядят, чтобы не видеть и навсегда забыть этот затерянный на краю вечности город. Миазмы белой проклятой дымки поражали мозг и высасывали из тела душу, и когда к концу мая она исчезала, Виктор был уже безнадежно больным – таким же, как и все местные жители. Проклятая белая дымка, апофеоз всех местных ужасов, окончательно доконала его. В конце мая в Алушту к нему приехала жена, уставшая ждать его в Москве в полной безвестности, и не верившая уже в то, что он здесь плодотворно работает. Однако после нескольких бурных объяснений Виктор наотрез отказался возвращаться назад, заявив, что он сумасшедший, и что ей лучше всего бросить его. Нина (так звали его жену) с ужасом смотрела на это жалкое, полуопустившееся существо, которое еще недавно было молодым московским поэтом, с очень большими амбициями, и понимала, что он, к сожалению прав. Она сделала еще несколько безнадежных попыток переубедить его, и в конце концов возвратилась назад, а он остался в белом городе на берегу теплого моря, в окружении синих гор и баснословной природы, и стал одним из его рядовых жителей, то есть человеком без прошлого и без будущего, живущим одним сегодняшним днем на краю страшной пропасти, придавленным к черной земле одним общим грехом гордыни, и терзаемый вместе со всеми страшной безликой дымкой, выползающей, как дракон, каждую весну из глубин холодного моря.

С тех пор Нина всегда в мае приезжала в Алушту, по-прежнему пытаясь вернуть мужа назад, и каждый раз убеждаясь, что сделать это уже невозможно. В этот год она снова появилась здесь в середине мая в составе шумной компании бывших московских друзей и коллег Виктора К., не надеясь уже ни на что, и, кажется, уже не считая его своим мужем. С утра на город опять наплыла страшная дымка и поглотила дома, улицы, белые цветы миндаля и яблонь, крики чаек и шум полупустых, кривых и мощеных еще кое-где булыжником улиц. Второй день на море свирепствовал шторм, и в разрывах белых хлопьев тумана можно было увидеть огромные валы, бешено бьющие в зеленые береговые утесы. Виктор встретился с женой на пустынном пляже, и они долго говорили о чем-то, а ветер, заглушаемый ватой тумана, только лишь приносил обрывки фраз, звучавшие, как безнадежный рефрен: «Нина! Виктор! Зачем? Никогда!» Потом туман немного рассеялся, и можно было увидеть со стороны белоснежной арки, на которой было написано что-то малоразборчивое, как две фигурки, повернувшись друг к другу спиной, разошлись в разные стороны: одна шла к набережной, а другая в сторону дикого пляжа, который, впрочем, давно не был диким и был закован в бетон, как и все на этом накрытом дымкою побережье. Виктор шагал, не разбирая дороги, по крупной гальке, которая хрустела у него под ногами, не понимая, за что он любил когда-то эту женщину, ставшую для него сейчас совершенно чужой. Впрочем, такой же чужой, словно увиденной в волшебном ящике заезжего кукольника, стала вдруг для него и вся его прошедшая жизнь, полностью поглощенная хлопьями белой пены, которая падала сверху на землю, и смешивалась с такой же пеной, выбрасываемой на берег огромными волнами. Потом пена опять разошлась в разные стороны, и он увидел в море, всего в каких-то ста метрах от берега, странного серого лебедя, покрытого яркими пятнами золота, словно бы обрызганного сверху чистым небесным дождем. Лебедь бесстрастно качался на высоких волнах, то поднимаясь вверх, к небесам, то опускаясь вниз, к острым придонным камням. И Виктор вдруг понял, что это не лебедь, а брат его качается там, на высоких волнах, и зовет его за собой, гордо выгибая свою белую шею и упорно держась на одной точке, словно смеясь над ветром и морем. «Я лебедь, – сказал сам себе Виктор, – я

лебедь, и я должен быть там, в море, рядом с моим гордым братом!» Он сам удивился простоте этой мысли, и, медленно войдя в воду, окунулся в морскую пену сначала по пояс, потом по шею, а потом легко поплыл вперед, навстречу своему гордому брату, ждущему его посередине вечного моря. Он еще успел удивиться, почему ему совсем не холодно, и почему такие высокие волны совсем не трогают его, точно так же, как они не трогали странного лебедя, держащегося на одной точке посреди штормящего моря. Он уже не был Виктором К., не был поэтом, а был просто птицей, которую сначала видела с берега одиноко стоявшая там женщина, и что-то кричала ей, размахивая над головой руками. Потом туман стал особенно плотным, и уже ничего заметить с берега было нельзя.

2005

Мона Лиза

Рассказ

Он вошел в купе где-то под Харьковом, и занял, как и я, верхнюю полку. Я кивнул ему как и всем остальным, и отвлекся своими делами, то есть пил иногда чай, глядел в окно, да ходил в дальний конец вагона посмотреть расписание и подышать свежим воздухом. До вечера, кажется, мы не сказали друг другу и двух слов. Когда стемнело, две толстые тетki, нагруженные огромными сумками, покинули нас, сойдя на какой-то станции, и до утра в купе больше никто не входил. Я не стал покидать верхнюю полку и то же самое сделал он. Вагон иногда трясло, но я не обращал на это внимание, выбрав какую-то точку на потолке и обдумывая события последнего времени. Я любил эти часы вынужденного одиночества, это перемещение, словно в туннеле, из одного мира в другой, когда обрываются, хотя бы на время, все старые связи, а впереди маячит нечто неясное и до времени неизвестное, о чем можно лишь только догадываться.

– Мечтаете? – спросил он у меня, доброжелательно глядя со своей верхней полки, которую тоже не стал покидать.

– Да, – ответил я неохотно, внутренне досадуя на это незапланированное вмешательство.

– И очень хорошо делаете, – так же доброжелательно сказал он, – потому что перед смертью лучше всего расслабиться и не думать о неприятных вещах.

– Почему? – машинально спросил я, не понимая еще, о чем он говорит.

– Потому, что умирать надо легко, без всяких этих надрывов и ненужных испугов, которые только портят последние мгновения жизни. Уходить надо спокойно и весело, словно отправляясь в лес по мокрой осенней тропинке, запорошенной упавшими желтыми и багряными листьями, заранее зная, что назад ты не вернешься. Такой уход предпочтительней всех остальных.

– Да вы поэт! – весело рассмеялся я. – Однако с чего вы взяли, что я собираюсь куда-то уйти? При чем тут смерть и уход в лес забвения по мокрой осенней тропинке?

– Потому что я пришел убить вас, – ответил он все так же доброжелательно, весело глядя на меня со своей верхней полки.

– Убить, но за что?

– А ни за что. Просто я киллер, и мне за вас хорошо заплатили.

– Заплатили, но кто?

– У вас слишком много врагов. Я собирал ваше досье в течении долгого времени, и насчитал столько врагов, сколько, кажется, не было даже у Пушкина. Вы обогнали его в этом по всем показателям.

Я. Вы мне льстите. Сравнение с Пушкиным – это необыкновенно лестно для литератора.

Он. Я знаю, что вы литератор. Повторяю, я собирал сведения о вас в течении довольно большого времени, и не нашел ни одного друга, который бы смог вас защитить. Одни только враги, причем все такие, что, не колеблясь, всадят вам пулю в ваш бледный лоб.

Я. Как Онегин бедному Ленскому. Хотя, впрочем, Ленского убили иначе.

Он. Да, как Онегин бедному Ленскому. Или кто-то из этих литературных героев. Вы постоянно всех высмеивали и разоблачали. Вы писали едкие эпиграммы и статьи, выводящие на чистую воду всех, кто вам не нравился. Когда-нибудь вы должны были непременно нарваться. Скажите, зачем вы написали статью о первом лице в государстве?

Я. Это было давно, и государство это благополучно распалось. Простите, а это он меня заказал?

Он. Нет, это не он. Впрочем, это совсем не важно, кто вас заказал. Быть может он, а быть может, что и не он. К делу это никакого отношения не имеет.

Я. А что имеет отношение к делу?

Он. Да буквально все, буквально вся ваша прошедшая жизнь. Скажите, а за что вы обидели этого заслуженного академика? Того, который позволил себе по ошибке коснуться ваших любимых чаек?

Я. Я живу у моря, и чайки – это мои друзья. Чайки, собаки и дети. У меня, как видите, много друзей. Хотя и врагов тоже хватает. А он просто залез на мою территорию, как те обнаглевшие вороны, которые сражаются с чайками за жалкие куски пищи. Не люблю ворон, как не люблю разных некомпетентных болванов, которые занимаются не своими делами. Скажите, так это он меня заказал?

Он. Кто, академик? Нет, не он, хотя бы на его месте я обязательно это сделал. Знаете, я специально изучал ваше досье, чтобы научиться вас ненавидеть. Я не могу убить человека, если не ненавижу его. Убить вас очень просто, у вас нет друзей, и поэтому вы плохой человек.

Я. Я же говорил вам, что это не так. Я дружу с чайками, собаками и детьми. А воюю с невежественными академиками и черными воронами, отбирающими у чаек последние куски пищи. Я не такой уж плохой, как вы обо мне думали. Собаки, чайки и дети не станут дружить с дурным человеком.

Он. К черту ваших собак и чаек, к черту ваших детей. Вы что, думаете, что я какой-нибудь монстр, готовый застрелить первого встречного? Я, между прочим, много читаю и изучаю искусство от Древней Греции и до наших дней. А баржа, на которой я живу, называется «Мона Лиза»! Вы думаете, я просто так дал ей это название?

Я. Вы живете на барже?

Он. Да, на Москва-реке, в самом центре города. Мне, слава Богу, хорошо платят за таких ублюдков, как вы.

Я. Я не ублюдок, я совершил в жизни немало хорошего. Признаюсь, у меня мало друзей и очень много врагов, но чайки, собаки и дети с лихвой искупают все это. Скажите, а у вас есть дети?

Он. Вы что, идиот? Откуда у киллера дети? А если я промахнусь, и меня самого подстрелят, как последнего дурака? Я человек гуманный, и не хочу никого оставлять сиротой!

Я. А что же вы делаете на этой своей барже? Чем занимаетесь в промежутках от одного задания – до другого?

Он. Вы что, совсем идиот? Проматываю деньги, полученные за таких субчиков, как вы, гуляю с девочками, ну и, конечно, читаю. Я уже говорил, что назвал свою баржу «Моной Лизой», потому что все люблю делать красиво. Красиво жить, и красиво убивать. Это моя философия, я сам себя так воспитал. А Мона Лиза – это самая красивая женщина в мире. Еще никто не нарисовал более красивый портрет, чем тот, который нарисовал Леонардо!

Я. Да вы, безусловно, эстет, и мне приятно, что меня убьет именно такой человек. Не хочется погибать от руки невежественного убийцы.

Он. Я не убийца! – заорал он чуть ли не на весь вагон. – Я порядочный человек, отстреливающий таких монстров, как вы. Вы насквозь одиозны и проникнуты духом отрицания и разрушения. Если бы вы создали нечто похожее на великое творение Леонардо, я бы вас не убил!

Я. Скажите, а когда вы собираетесь это сделать?

Он. Что? Убить вас? Под утро, лучше всего это делать под утро, когда все еще спят, и можно спокойно покинуть вагон. Так что время у вас еще есть. Только лежите спокойно и не делайте резких движений, а то мне придется застрелить вас раньше срока.

Я. Хорошо, я не буду делать резких движений и до утра не покину купе.

Здесь мы замолчали, и довольно долго лежали на своих верхних полках, прислушиваясь к равномерному ходу поезда. Я знал, что это рано или поздно должно было случиться, но не думал, что смерть придет так быстро. Видимо, нельзя слишком много высмеивать все и вся, нельзя наживать себе бесконечных врагов, имея в друзьях всего лишь чаек, собак и детей. И

еще, пожалуй, море. И природу. И культуру вообще. И мироздание, вместе с моими читателями, которых, кстати, вовсе немало. И еще камни на берегу пенного моря, и мокрый песок, и водоросли, выброшенные на берег. И женщин, которых я когда-то любил, а они любили меня. А еще... Да еще множество других прекрасных вещей, которые были в моей жизни, в том числе и друзей, одни из которых уже ушли, а другие еще живы, и, возможно, хранят в глубине души память о нашей прошедшей дружбе. А еще мои книги, мои стихи и мои романы, – все это не фунт изюма, все это очень серьезно, и с лихвой перевешивает его дешевую баржу с девочками в центре Москвы и дешевую философию убийцы-эстета, который считает, что делает жертве красиво, когда нажимает на курок не просто так, а с чувством эстетического удовлетворения.

– Вы не спите? – спросил я у него после долгой паузы.

– Я никогда не сплю на работе, – ответил он мне. – Я готовлю себя к самому решающему моменту, вспоминаю лучшие куски из когда-то прочитанных книг, слушаю любимую музыку, смотрю на картины великих художников, – все это постоянно живет во мне, присутствуя до самой последней секунды, до вашего тихого предсмертного крика. А потом все это внезапно заканчивается, и я становлюсь выжатым, словно тряпка, и напиваюсь, как последняя свинья. После работы с такими, как вы, всегда необходимо надраться до чертиков.

– Что, нелегко убивать человека?

– А что вы думаете, очень легко? – закричал он опять чуть ли не на весь вагон. – Если бы это было так просто, мне бы за все не платили такие большие деньги!

– Не кричите так сильно, – сказал ему я, – вы разбудите весь вагон.

– А мне плевать, – заорал он еще громче. – Я, если понадобится, перестреляю здесь всех подряд, и никакая милиция мне помешать не сможет. Вы знаете, сколько мне за вас заплатили? Вы знаете, что по вашей милости я должен буду пить теперь целый год, и гулять с этими последними шлюхами, от которых меня тошнит, как от не знаю чего. Из-за таких субчиков, как вы, я давно уже стал алкоголиком и импотентом, и вы мне за это скоро ответите!

– В каждой профессии свои издержки, – сказал я ему. – А что, за меня действительно так хорошо заплатили?

– Больше, чем хорошо, – ответил он, ухмыляясь. – Не следовало вам писать ту статью о первом лице в государстве, после которой вся наша империя просто-напросто развалилась на части. Вы высмеяли его так беспощадно и нагло, что все вокруг тоже стали смеяться, и поняли, что его не стоит бояться. Эта ваша статья войдет в анналы истории.

– Да, – сказал я ему, – ей были обклеены подземные переходы в обоих столицах, а распространители, торговавшие этой статьей, сделали себе небольшие, но приличные состояния. Я разговаривал с ними потом, не называя себя. Скажите, это за нее меня заказали?

– Нет, – ответил он, – можете не льстить себе: не за нее.

– А за кого? За того великого академика?

– Академики не заказывают своих оппонентов, – ответил он. – Хотя все может быть. Я бы, во всяком случае, на его месте вас заказал. Впрочем, я точно не знаю, это все делается через посредников, но, думаю, вас заказали друзья.

– Вот видите, – невольно рассмеялся я, – а вы говорили, что у меня не осталось друзей. Значит, кое-кто все же остался!

– Остались! – опять закричал он, – но вам от этого не легче. Зря вы заводили в свое время так много друзей, не имели бы сейчас так много врагов!

– Так значит, невозможно точно сказать, кто за меня заплатил конкретно? – спросил я у него. – Как жаль, не хочется погибать от неизвестного анонима!

– А вам хочется гибели такой, как у Пушкина? На Черной Речке, во время дуэли, и чтобы секунданты стояли по сторонам, и на карете потом через весь город по снегу везли?

– Да уж лучше, чем под утро в этом душном купе!

– Что поделаешь, батенька, – весело рассмеялся он, – таковы нравы нашего падшего века. Но не бойтесь, я вас потом помяну, – у себя на барже, с девочками и шампанским!

– Вы же говорили, что из-за таких, как я, сделались импотентом. Зачем вам девочки, от них ведь одни расходы!

– Да, вы правы, – просто ответил он. – Буду пить, глядя на Мону Лизу в журнале, и думать о высоких вещах.

– А вы считаете, что Мона Лиза – это очень высокое?

– А что же, черт побери, это такое?

– А вы что, не знаете, кого на самом деле изобразил в ней Леонардо?

– О чем вы говорите?

Я. О том, что это, в строгом смысле, вовсе и не портрет женщины, а портрет дьявола, портрет змея, портрет соблазнителя, который в райском саду искушал нашу праматерь Еву. Именно потому так соблазнительна его улыбка, именно потому так загадочно улыбается он, готовясь в следующий миг всякому, кто смотрит на этот портрет, протянуть яблоко искушения, яблоко познания добра и зла. Вы взгляните внимательно в творение Леонардо – ведь на картине изображен гермафродит, полуженщина, полумужчина, ведь именно таков и есть дьявол, именно таков и есть искуситель, который по большому счету бесполой, каковым и должен быть падший ангел.

Он. Вы это серьезно?

Я. Серьезнее не бывает. Мона Лиза, которую тиражируют по неведению миллионами экземпляров, и имя которой носит ваша речная баржа, – вовсе не портрет женщины, а портрет извечного противника Бога и человека. Именно потому так и обольстительна ее улыбка, именно потому так и загадочна она для миллионов людей. На самом деле на ней изображено бесполое существо, которое является падшим ангелом, известным нам под именем дьявола, или сатаны. Впрочем, все эти вещи знакомы специалистам давно, на эту тему даже романы написаны, и только наивные люди, вроде нас, носятся с этим портретом, молятся на него, как на икону, и даже называют в его честь свои плавучие баржи.

Он, кажется, был сбит с толку, и довольно долго молчал.

– Да, ошарашили вы меня, – сказал он мне. – Послушайте, а почему же я ничего об этом не знал?

– Это вещи, о которых знают немногие, – ответил ему я. – Точнее, не те, которые видят лишь внешний блеск и обманчивую мишуру, но вникают в сущность вещей. Все это, повторяю, давно известно специалистам, да и не только им, а у вас, видимо, просто времени не было во всем разобраться.

– Да, – честно признался он, – я слишком много работал последнее время, копя на девочек и на баржу. А теперь оказалось, что девочки мне не нужны. Так что же выходит, что я поклоняюсь не тому, кому надо?

– Выходит так. Скажите, вы верите в Бога?

– Разумеется, верю! – произнес он почему-то шепотом, и даже, кажется, оглянулся по сторонам. – И если бы я знал, что Мона Лиза на самом деле портрет дьявола, я бы баржу никогда так не назвал. Скажите, а зачем Леонардо вообще написал этот портрет?

– Кто его знает? Душа Леонардо темна, он был абсолютно одинок и несчастен, вокруг него умирали ученики, разрушались государства, бушевали войны, он был бездетен, а его самого обвиняли в равнодушии к мальчикам, и во многих других тяжких грехах. Что толку судить о том, о чем мы точно не знаем? Известно доподлинно лишь то, что женщина, позирующая Леонардо, вскоре после этого умерла, а он сам достиг преклонного возраста, и не было, кажется, на свете более одинокого и холодного человека.

– Но он был знаменит, – воскликнул мой собеседник, – и это все искупает!

– Что толку от такой знаменитости? – ответил ему я. – Что толку от нее, если в душе воеет ветер, а вокруг одни лишь смерти, и впереди адская бездна, в которую тебе суждено вскоре сойти? Творение Леонардо, – это апофеоз именно такому одиночеству и такой бездне. От Моны Лизы действительно веет абсолютной красотой, но это красота преисподни, красота Люцифера, утренней звезды, которая предвещает скорую смерть. Абсолютная красота вовсе не возвышает и не облагораживает, она убивает, и в этом и заключен подлинный смысл Моны Лизы. Леонардо просто поиздевался, посмеялся над всеми нами, написав эту картину.

– Так значит, я тоже живу над бездной, назвав свою баржу именем Моны Лизы?

– Совершенно верно. Вы живете в преддверии смерти, и чем больше у вас денег, чем больше людей вы убиваете, тем ближе к ней подойдете. Вот вы эстетствуете и обставляете свои убийства, как некие театрализованные действия, но сам дух Моны Лизы, дух бесполости и близкой бездны уже давно вошел в вас. Вы уже импотент, и, значит, отринуты от мира людей и света. Вы и убивать ведь предпочитаете в сумерках, под утро, когда восходит утренняя звезда, восходит Люцифер, который, как видно, полностью уже поглотил вашу душу. Вы давно уже пленник ада, вы оставили себя адскими атрибутами, вы не можете уже нормально общаться с людьми и смотрите на них только через мушку прицела. По большому счету, вам нужно немедленно каяться, прыгать с поезда, и бежать без оглядки к ближайшей сельской церквушке, чтобы иметь хоть какую-то возможность спастись. Если вообще остался у вас хотя бы единственный шанс.

– А как вы думаете, остался он у меня, или нет?

– Кто его знает? – ответил ему я. – Вы ведь убили много людей, и получили за это большие деньги. Это не то что несчастные тридцать сребреников, хотя и за них бедняге Иуде пришлось повеситься на осине. Вам ведь, наверное, платили многие миллионы?

– Да, – ответил он тихо, – баржи в центре Москвы стоят дорого. Хотите, я отдам вам все свои деньги? Собственно говоря, сейчас у меня только те, что заплатили за вас, но и этого, поверьте, хватит на приличную баржу.

– Лучше отдайте их детям и чайкам, – сказал я ему. – А еще бездомным собакам. Устройте приюты для тех и других. Это будет хоть какое-то покаяние. И сделайте это как можно быстрее.

Он. Вы считаете, что мне нужно спрыгнуть с поезда?

Я. А вы делали это когда-то?

Он. Нет.

Я. Тогда вы разобьетесь, и ни о каком покаянии больше не будет речи. Лучше дождитесь ближайшей станции.

Он. Все же давайте я отдам вам ваши законные деньги.

Я. Это деньги, уплаченные за мою смерть. А я выбираю жизнь. Отдайте их, повторяю, собакам, чайкам и детям.

Он. Простите меня.

Я. За что? За то, что вы искренне каетесь? За это не прощают, за это благодарят.

Он. Вы перевернули всего меня изнутри.

Я. Жалко, что я не священник.

Он. Я до гроба ваш самый преданный друг.

Я. А вы говорили, что у меня нет друзей.

Он. Я был не прав. Простите меня. Можно, я вас поцелую?

Я. Не надо, лучше сойдите на первой же станции. И сделайте все, о чем мы здесь говорили. А я буду за вас молиться.

Он. Вы правда будете это делать?

Я. Я верующий человек, и часто молюсь.

Он (пытаясь обнять и прижавшись на миг мокрым лицом). Простите меня!

Я. Бог простит.

Он вышел на первой же станции, и больше я его никогда не видел. Мы стали друзьями всего лишь за одну ночь, и я не сомневаюсь, что если он выживет, лучшего друга я не скоро найду. Если кто-нибудь опять не захочет меня убить. Впрочем, это будет совсем другая история.

2005

Царь Ханаанский *Странная рукопись*

Я познакомился с ним лет пятнадцать назад на одной студенческой вечеринке: шумной, веселой, и организованной, как обычно, по самому ничтожному поводу. Кажется, мы отмечали день весеннего равноденствия. Он играл в то время роль начинающего поэта, и очень томно вздымал кверху руки, закатывал глаза и декламировал навзрыд какую-то несусветную чушь, нечто о вечной любви и коварстве изменчивых женщин, приправленное кинжалами, звоном шпаг в глухих переулках Гранады, шелковыми лестницами и погонями на лошадях со стрельбой по пыльным сельским дорогам. Для справки заметим, что начинали путь свой поэтами многие ниспровергатели мира сего, вроде Маркса или безумного Ницше, хотя безумие Маркса тоже высвечивает сквозь ветхую ткань новой истории все более и более мрачно; впрочем, мы этой темы еще коснемся. Вряд ли понимал я так явственно, как сейчас, что вклад этого весельчака, обжоры и пьяницы в изменение мирового порядка, более того – в развенчание всех прочных основ его окажется столь же зловещим, как вклад двух уже упомянутых мною пиитов. Нет, тогда, в пору его и моей удалой юности, я всего лишь чувствовал, скорее интуитивно, невнятные струи зла, эдакую эманацию черного электричества, исходящую от его нелепой детской фигуры; как же прав оказался я в этих предчувствиях!

Внешность у него была самая странная, какую только можно вообразить: представьте себе рыжие волосы, нечесанные и торчащие в разные стороны, румяные щеки, щелочки маленьких хитрых глазок, бегающих туда и сюда и подозрительно оглядывающих вас с головы до ног, а также большой жирный кадык, дополняющий такое же жирное брюхо, в котором что-то постоянно урчало; ножки у него были маленькие и кривые; как это ни странно, он пользовался у женщин довольно большой симпатией, вызванной во многом нахальством и шумной манерой себя развязно держать, что в некоторых случаях для иных легкомысленных кудрявых головок предпочтительней неловкой начитанности и угрюмой застенчивости; он знал об этом, и ловко этим знанием пользовался, прослав среди нас одно время эдаким Дон-Жуаном, покорителем самых неприступных сердец. В то время я ему страстно завидовал, и, оставаясь в тени, на вторых ролях, с завистью наблюдал, как этот рыжий нахал ломится напролом, словно танк, покоряя, казалось бы, немыслимые высоты. В ту нашу первую встречу на шумной студенческой вечеринке он читал, взгромоздившись прямо на стол, среди бутылок с «Салютом», портвейном и тарелок с нехитрой закуской, выставив вперед жирный кадык и такое же жирное брюхо, постоянно вытирая рукой льющийся со лба липкий и крупный пот: «Лобзать хочу, забравшись в ваши кущи, срывая груши, дыни, огурцы...», и далее, далее, все в том же гастрономическо-жирном и рыжем ключе, который, однако, в сочетании с шипучим «Салютом» закончился таки лобзаньем в углу какой-то перезрелой и чувственной пятикурсницы, давно уже привычной к таким милым комиссиям.

Помнится, я в ту ночь страстно рыдал, искренне ненавидя и его, и себя, и эту податливую и мягкую утешительницу, выпитую за ночь нахальным рыжим злодеем, сладострастным пауком на мохнатых и слабеньких ножках; я был первокурсником, и многое в жизни казалось мне утерянным навсегда. Много позже я понял, что союз мухи и паука зачастую бывает добровольным и при обоюдном мирном согласии; извращение правит миром в подавляющем количестве случаев, и именно оно, очевидно, есть стержень взлета и падения империй, восторженных од, обращенных к свирепым завоевателям и того елея поэтической глупости, который пииты изливают на кровавое прошлое. Я многое понял со времен своей студенческой юности; впрочем, об этом вас я еще извещу.

Имя его ничего вам не даст, и я не стану его здесь называть. Ах, юность, моя незабвенная юность! Общежитье нахальных свирепых физиков, необразованных технократических дикарей, ничего никогда решительно не читавших, кроме разве «Муму» или «Коммунистического манифеста», – общежитье невоспитанных технарей, где в фойе висит огромный, шокирующий нормальных людей плакат: «Только физика соль, остальное все – ноль!»; где любая девчонка в очках и с таблицей логарифмов под мышкой считается королевой, где страсти кипят не от театральных изысков, не от глубины художественных вернисажей, не от сюжета фантастического бестселлера, а от столкновений элементарных частиц, одна из которых почему-то оказалась тяжелей и проворней; вся страна тогда представляла собой такое же вот огромное нахальное общежитие, мечтающее о марсианских плодоносящих садах, прокладке БАМа и о посылке космических караванов к ближайшей звезде Альфа Центавра. По всей стране висели на стенах студенческие рабочие чертежи, вкуче с графиком построения коммунизма, и нет ничего странного в том, что, возвратясь со злополучной пирушки и благополучно проплакав в подушку все свои обиды и нереализованные мечты, я обнаружил утром на соседней кровати не кого-нибудь, а его в обнимку с согласной на все и равнодушной к поэзии пятикурсницей: Царь Ханаанский был отныне моим соседом по комнате. Однако еще более я поразился, когда, проснувшись около полудня и отогнав пинком заspanную девицу, тут же, впрочем, мирно ретировавшуюся, он сказал мне вместо приветствия, зевая и давясь при этом от глупого смеха: «Ты знаешь, старик, что означает слово чувиха? по-испански оно означает циновку, подстилку для ног, и вообще последнюю падаль, о которой не стоит считаться...» Что я мог на это ему возразить? Разве что сморозить такую же дикую глупость?

Курс от курса он становился все более жирным, небольшой упитанный животик его превратился со временем в огромное потное чрево, внутри которого настойчиво что-то двигалось и ревел, словно пойманный в клетку большой хищный зверь, а неимоверно длинный кадык так сильно выдавался вперед, что делал его похожим на самодовольного и наглого индюка; вдобавок, от него сильно воняло; тем не менее, слава непризнанного поэта, гения пера и чернил так сильно утвердилась за ним, что иные сердобольные старшекурсницы, не утратившие до конца свой бездонный запас нежности и любви, вкуче с длинноногими блондинками, только-только переступившими порог института, с прежней пылкостью бросались ему в объятия, несмотря на то, что он давно уже ничего не писал; мне кажется, что многих девиц привлекал именно его отвратительный запах, как привлекает медведей гризли снесь с душком, закопанная на страшной жаре – иного объяснения романам его я дать не могу; считайте, что это одна из тех безумных гипотез, на которую так падки физики.

Будучи невольным и бессильным свидетелем многочисленных его амурных ночей, прерываемых иногда истошным девичьим визгом, а также довольным индюшачьим курлыканием, изображающим смех добродушного и сытого дядюшки, пригревшим из милости у себя на груди длинноногую голубоглазую оборвашку, – будучи свидетелем всех его ночных, пошлых и гнусных выходов, я в очередной раз убедился, что женщинам нужно еще кое-что, помимо благородства и пылкой, но застенчивой сдержанности.

Именно тогда прозвали его Царем Ханаанским; как можете вы догадаться, я был его преданным визирем, втайне ненавидящим своего господина и мечтающим о его лютой смерти; впрочем, со смертью его исчезли бы и те крохи, что иногда все же перепадали с его жирного и щедрого языческого стола; устав от очередной восторженной обожательницы, он великодушно дарил ее мне, а та, раскусив через пару деньков мои унылые благородные рассуждения, сбегала от скуки из нашей комнаты к такому же, как он, языческому царьку, но, разумеется, рангом пониже; ибо никто не мог тягаться с ним в разврате и пошлости, никто так смачно в присутствии дам не выпускал шумных ветров и даже сытой наглой отрыжки, тут же компенсируя их каким-нибудь глупейшим гастрономическим выражением и предлагая похабный тост, который все с радостью принимали; никто, как он, не сидел неделями за столом, играя одновременно в

«девятку», покер и преферанс и поглощая ящиками холодное пенное «жигулевское»; он был не просто одним из институтских царьков, хозяином гарема и владельцем игорного заведения, похожего также и на винную лавку: он был, безусловно, языческим божеством, эдаким кривоногим гаденьким истуканом, получившим неизвестно откуда гаденькую, но сильную власть; и если кто-то мне скажет, что это не он развратил нынешнюю молодежь, или, по крайней мере, не приложил к этому свою жирную руку, я рассмеюсь в лицо этому простаку; я рассмеюсь в лицо потому, что знаю, о чем говорю! Друзья мои, мы живем в странной стране: достаточно пустить заразу в столице, как вскоре закашляет все государство! Рыба, как известно, гниет с головы. Он сидел в комнате без штанов, с удивлением рассматривая свои белые мохнатые ноги, которые мыло в тазу восхитительное длинноногое существо, а другое такое же, не менее восхитительное существо делало ему феном укладку, превращая рыжую паклю волос в парик позапрошлого века, а то и в прическу откормленного барана; он сидел на тощем студенческом табурете и что-то читал из ядерной физики; кажется, что-то о странностях кварков; объективности ради надо сказать, что он был круглым отличником, и именно это немаловажное обстоятельство отчасти смягчало отношение к нему руководства; к концу пятого курса Царь Ханаанский неожиданно женился на дочке декана, и моментально сменил табурет общежития на оббитые бархатом антикварные кресла, которые вместе с остальным гарнитуром подарил ему папаша невесты; вместе с креслами была подарена и квартира в Москве; свадьба была пышной и шумной, я был на ней шафером, и стоял под блицами наемных фотографов рядом с надутым тщеславием и глупостью бурдюком, как никогда в этот момент напоминающим жирного индюка; рядом стояли удивленные наши доценты, компенсировавшие, впрочем, свое удивление за столами модного ресторана, повидавшего в жизни разные странные свадьбы; надо ли говорить, что спать я вернулся под утро к себе в общежитие, и что продажные ласки одной из бывших его фавориток лишь отчасти скрасили мое осиротелое одиночество?

К моменту окончания института неожиданно оказалось, что он был автором необыкновенно талантливой работы по магнитному резонансу, получившей первую премию на международном студенческом конкурсе; и это не было свадебным подарком папы-декана, ибо сам папа написать эту работу не мог, так как был просто чиновником, лишенным большого воображения и не поднявшимся выше кандидатского минимума, готовым подарить разве что квартиру с видом на Кремль, – как признался мне сам Царь Ханаанский, он писал свои заметки по магнитному резонансу от нечего делать, ночами, очень часто после шумной попойки, чуть ли не за игорным столом, на манжетах, а то и прямо на картах, так что иной какой-нибудь бубновый валет, ни слухом ни духом не ведавший о существовании антиматерии, и увивающийся разве что за козырной дамой бубей, стал первым свидетелем его необыкновенных успехов. «Сам не знаю, старик, как это у меня получается; два на два умножить иногда не могу, а тут видишь, как широко размахнулся! Скучно, брат, жить, скучно страшно, вот и лезет в голову всякая дичь!» И в этом был весь Царь Ханаанский! Игра, отрывка, бурчанье в желудке, брезгливое снисхождение к какой-нибудь одуревшей от экзотичной обстановки дурочке-первокурснице, сонный туалет где-то в районе полудня, обязательная процедура опохмеления, и вновь – игра до завтрашнего утра, в перерыве которой, устав от поэтической эпопеи, он, забывший правила арифметики, небрежно нарисовал на манжете открытие государственной важности. О том, что это действительно так, и что его студенческие экзерсисы неожиданно пригодились в ядерной физике, свидетельствовал легкий переполох среди академиков, один из которых скоростно скончался, а другой элементарно свихнулся, и, неожиданно очутившись в психушке, доказывал местным Наполеонам и Александрам, что это именно он тот самый гениальный студент. Наполеоны и Александры, естественно, не возражали.

В необыкновенно короткий срок все закрутилось самым фантастическим образом. Вчерашний студент, Царь Ханаанский вдруг стал профессором и директором научного института, который специально, в несколько месяцев, возвели для него на одной из окраин Москвы; без

меня к тому времени он уже обходиться не мог, я был для него чем-то вроде домашнего доктора, няньки, личного калькулятора, поверенного в делах и просто-напросто ежедневного собутыльника; что же касается личного калькулятора, то из всего обширного гарема девиц, накопившихся у него за время учебы, взята была к себе лишь одна: очкастая тощая особа с зубами, неизвестно кем и когда замененными на тонкие стержни из проволоки, перевитые к тому же в разные стороны; в институте шепотом говорили, что она вовсе не женщина, а некое кибернетическое существо, созданное Царем Ханаанским себе на потеху, а другим на раздумье; считала она, честно надо сказать, лучше любого компьютера и заменяла собой целую лабораторию, ибо основная наша работа, помимо недолгих визитов в отстроенный для нас, и не просохший еще от извести и белил институт с целым штатом удивленных сотрудников состояла в путешествии от одной атомной станции – до другой и в проведении на них строжайше засекреченных экспериментов, суть которых сводилась к поискам антиматерии; девица с зубами из металлической проволоки, которую, кстати, звали Матильдой, решала в уме бесчисленные цепочки дифференциальных уравнений, и это было как нельзя более кстати, ибо позволяло проводить эксперименты втроем, и, быстренько все обстряпав и обсчитав, предаваться неторопливой дреме в обнимку с запотевшей бутылкой и заветной игральной колодой где-нибудь на зеленой лужайке Чернобыля или Красноярска, рядом с прудом-охладителем, полным великолепных, жирных от радиации карасей; во время счета в уме, кстати, зубы Матильды светились голубыми разрядами и сквозь них пробегали юркие молнии; в преферанс же лучше ее вообще никто не играл; компания у нас, как видите сами, была лучше некуда; о жене же Царя Ханаанского, дочке декана и бывшей его и моей сокурсницы надо сказать, что она как-то незаметно исчезла с нашего горизонта; кажется, он с ней тихо развелся.

Скитаниям нашим в поисках военной антиматерии (а именно из-за военной антиматерии закрутилось все это странное дело) предшествовал визит на самый верх государственной пирамиды, где с Царем Ханаанским проведена была отечественная беседа; участвовал и я в этом визите. Он проходил на даче первого лица государства, в веселом летнем подмосковном лесу, куда попали мы, миновав уйму кордонов; было нечто вроде важного юбилея, чуть ли не именин дорогого и любимого всеми лица, ибо к даче то и дело подъезжали группы разных артистов: одетых в русское платье с кокошниками на голове бойких мастериц водить хороводы, ловких парубков с деревянными, изукрашенными изразцами топориками в руках, которые, однако, у них предусмотрительно отобрали; были артисты и в одном экземпляре, певшие басом то про набат Бухенвальда, то про широкую степь, неизъяснимую ни для кого, от обширности которой хочется плакать, а то и просто весело рассказавшие о студенте кулинарного техникума, у которого все валилось из рук; сам же веселый кулинарный артист, выйдя в приемную, устроенную в виде деревенских сеней, и наткнувшись впотьмах на меня, проговорил страшным шепотом: «Пардон, товарищ, не найдется ли соленого огурца?» И, получив ответ, что не найдется, ошупью ушел в сторону выхода. Ну а сам же Царь Ханаанский, произведший, кстати, очень выгодное впечатление на первое лицо в государстве и пообещавший ему добывать антиматерию авоськами и даже мешками (теоретически это вроде бы было возможно, что подтверждалось расчетами других академиков, не умерших и не сошедших с ума), пожалован был орденом Дружбы Народов, уже упомянутым институтом, а также слезным лобзанием в обе щеки и на прощание даже чаркою водки. «Сиськи-масиськи!» – сказала ему первое лицо в государстве, подымая кверху значительный палец. – «Сиськи-масиськи!» – повторило оно так же значительно, и, неожиданно разрыдавшись, облобызало Царя Ханаанского в обе щеки и губы. Что делать? таков был в то время ритуал облечения властью. «Сиськи-масиськи» же всего-навсего означали «Систематически», и это была та скромная мелочь, которую все прощали вождю; впрочем, и Библия ведь призывает нас друг другу прощать...

«Ты знаешь, старик, – говорил мне Царь Ханаанский вечером, давясь, как всегда, от индюшачьего веселого смеха, – ты знаешь, старик, мы ведь с ним один от другого мало чем

отличаемся; просто он все еще наверху, а я пока что внизу, но тоже собираюсь подняться!» Зловещие эти слова в тот день я пропустил мимо ушей. Меня вдохновили авоськи с антиматерией, наполнить которые доверху мы обязались в самое ближайшее время. С тех пор мы путешествовали с авоськами, походной кроватью Царя Ханаанского и его походной женой Матильдой, повергая в прострацию дирекцию атомных станций; которая, думаю, после наших визитов и наших безумных экспериментов с авоськами годами приходила в себя; в общей сложности мы наполняли авоськи лет семь или восемь, расписывая на лужайках веселую пульку и опустошая местные винные погреба; прямым следствием этого наполнения стала Чернобыльская катастрофа, хотя никто до сих пор вслух про это не говорил; слишком много подобных экспериментов, не менее экзотичных, чем наши, сулящих авоськи с антиматерией, а то и попросту философский бульжник, превращающий в золото все, к чему он ни притронется, сулилось первому лицу в государстве; последовавшая череда смены режимов, уже упомянутая Чернобыльская катастрофа, перестройка страны и даже распад целой империи выкинули нас на обочину государства: эксперименты наши были никому не нужны; лишённые института, отданного кому-то другому, с пустыми авоськами, колодой карт, походной кроватью и неизменной походной Матильдой осели мы в небольшом городке под Москвой, где Царь Ханаанский, совершенно охладев к атомной физике, ревностно предался пороку второй в мире профессии, клеймя в статейках все и вся в нашей стране, и ухитряясь печатать их сотнями в самых разных газетах; Матильда, продолжавшая по привычке все время считать (что считала она – никому неизвестно), и даже наблюдать наяву полет стремительных атомов, от горя еще сильнее усохла, превратившись в живую синюю молнию, и, не выдержав обращения друга, а один прекрасный день укатила в Москву, где, по слухам, снова мечтали о полных авоськах с антиматерией; очевидцы, правда, утверждали обратное: а именно, что она от горя расплавилась, превратившись в кучу обугленных проводков; лично мне ближе именно эта версия. Мы жили с Царем Ханаанским в небольшом гостиничном номере, заваленном от пола до потолка самыми ругательными статьями на свете, какие только можно вообразить, написанными, к тому же, под разными псевдонимами: «Антип Сердитый», «Профессор Гневный», и даже «Последний Правдолюбец России», и возникавшими прямо с утра, из ничего, в таком огромном количестве, что можно было смело вообразить целый полк гневных весталок, строчащих их ночь напролет; вы знаете, отчего пала наша империя? Она пала от Чернобыля и разврата! Вы знаете, кто свалил Горбачева? Вы знаете, отчего пал Горбачев? Он пал оттого, что его перестали бояться! Так много появилось в газетах мелочного вранья, так пошло и гнусно извращались многие факты, так много статей за разными псевдонимами возникло словно из ничего и захлестнуло страну, что незадачливые заговорщики, эти угрюмые и нелепые гэкачеписты приняли их за всенародное осуждение; какая наивность! За всеми статьями стоял он, он один, и никакому злобному обличителю не под силу было тягаться с этим ругательным монстром вранья; он развратил журналистскую братию! Развратил точно так же, как в свое время в Москве своими ночными оргиями развратил целое поколение московских студентов; вы думаете, что нынешний культ пошлости и сексуальной распущенности, изливаемых на нас ежедневно по телеканалам, появился просто так, сам по себе? Отнюдь: он, только он причина нынешней грязи с экрана! Именно он предусмотрительно готовил их в годы застоя; и можно лишь только догадываться, какая темная сила, мрачная и безжалостная, вела его за руку все это время!

Мы жили, повторяю, в номере скромной подмосковной гостиницы: он и я, его преданный визирь, забытые, и в общем ненужные никому; он к тому времени мало походил на обыкновенного человека: раздувшийся, обрюзгший и даже местами засиженный голубями, он медленно влачил по улицам городка в своих чудовищно широких штанах на помочах, не замечая связки консервных банок, привязанных к нему сзади мальчишками.

«Царь Ханаанский! Царь Ханаанский!» – кричали они, трепеща от ужаса восторга; и тут я впервые подумал, что, собственно говоря, не знаю смысла этого его вечного прозвища; я бро-

сился в библиотеку, одолеваемый каким-то странным предчувствием; энциклопедии и словари громоздились передо мной вместе со Святым Писанием; старинные фолианты, наполненные пылью и древней латынью раскрывали мне свои мрачные иллюстрации; я вглядывался в гравюры Дюрера, погружаясь в мрак ушедшей истории, и постепенно смысл этого странного прозвища – Царь Ханаанский, – данного ему неизвестно каким провидцем, предстал передо мной в зловещем и точном смысле. Я знал теперь (как знал, конечно, и раньше, но не так подробно, как знал это сейчас) о гневе библейского Ноя, проклявшего некогда своего сына Хама; я вычитал о Ханаане, внуке гневного и справедливого патриарха, Хамовом сыне, положившем начало многочисленным хамским народам, хананеям, как называет их Святое Писание; также называли их ханаанами; гнев Божий и проклятие Ноя определили полностью судьбу хананеев: им уготовано было рабство, гибель в междоусобных войнах и в конце-концов истребление с лика земли; древним евреям вменялось в обязанность истребление хананеев любыми способами, им запрещалось жениться на хананейках и перенимать себе их обычаи; у хананеев было множество царств, постоянно между собой враждовавших; одно время их насчитывалось до семидесяти; ханаане развивали науки, искусства и письменность; древние Ассирия, Египет и Финикия были ханаанскими государствами; эксперименты, проводимые жрецами в тишине египетских храмов, родившие алхимию, магию и Каббалу, всего лишь предшествовали нашим экспериментам на атомных станциях; богами хананеев были Астарта, Ваал и Молох, придуманные некогда самим проклятым Хамом; задачей же их было установление тысячелетнего хамского царства, познание темных и страшных глубин бытия, и, в конечном итоге, погибель всего и вся на земле; предания говорили о бесчисленных хананейских царях, возникавших то там, то тут непрерывно у разных народов; и если вы встретите в истории случаи непотребства, жестокости и разврата – знайте, что ими руководили цари ханаанские; не спрашивайте теперь, кто был чревоугодник Лукулл, кровавый деспот Нерон, не спрашивайте о разгуле Ивана Грозного, ночных кремлевских застольях Сталина, закатываемых посреди разоренной страны: то были застолья царей ханаанских! и все почти они были пиитами; или занимались языкознанием; или писали трактаты об улучшении мира, рисуя Царство тысячелетнего хамства. Я знаю теперь, кто будет основателем этого царства! о, слишком хорошо теперь я знаю его! Вся его жизнь, все поступки, все жесты были направлены к одной-единственной цели: приблизить царство тысячелетнего хамства; я трепещу от грядущих несчастий и не могу ничего изменить! Я знаю, что это случится в ближайшее время! я как-то обнаружил у него под подушкой рукопись, озаглавленную: «Ханаане, или арийцы новой эпохи»; в ней он утверждает, что не арийцы, не другие народы, а именно ханаане будут хозяевами обновленной земли; он называл Москву, как центр будущего ханаанского царства и Кремль, как резиденцию ханаанских царей. Я пробовал уйти от него, и уезжал из города на несколько дней; вернувшись, оборванный, голодный и злой, я обнаружил его у гостиницы на скамейки, с которой, кажется, не вставал он все эти дни; слетевшиеся, возможно, со всех окрестных лесов птицы облили его своим пометом так плотно, что походил он на огромную непотребную кучу; наивные небесные птахи, предчувствующие неотвратимое, – вам следовало бы заклевать его до смерти! впрочем, и это бы у них, конечно, не вышло: хамство бессмертно! Вы слышали о недавнем секретном заседании Думы? вы знаете, о чем говорилось на том заседании? там предлагалось избрать Царя Ханаанского новым президентом страны. Два дня назад к нам тайно приезжали двое сенаторов и беседовали с ним о чем-то всю ночь; я знаю, о чем они с ним беседовали: они предлагали ему стать президентом! я знаю, чем это может закончиться – это закончится общим Чернобылем и общей мусорной свалкой на всем пространстве земли! свалкой, которая будет излучать радиацию. Я понял, что должен этому помешать; я положил себе его непременно убить, но... Но неожиданно поэтический жар стал заполнять мои бессонные длинные ночи; я стал строчить одну за другой длинные оды, посвящая их деревьям и птицам, прекрасным цветам, заходам и закатам и счастьем всего живущего под Луной; кроме того, я думаю теперь о благе всех людей на земле и даже

начал писать трактат: «Ханаане как основатели нового Космоса»; в нем я развиваю идеи учителя; в конце-концов, учитель мой не вечен и скоро умрет; ему понадобится умный наследник; я не отдам царство, завоеванное таким тяжким трудом, в случайные руки; я знаю, как все обустроить в нем и все изменить, ибо давно уже изложил это в философском трактате; сейчас вот только запишу пылкую оду, и прочитаю вам этот трактат с начала и до конца.

1997

Пятно

Конспект сумасшедшего

24 мая, вечером, поздно

Решил конспектировать все, что меня занимает. Как серьезный ученый, не упускающий ни малейшего факта. Тем более, что моя московская жизнь этими фактами просто насыщена. Удивляешься буквально всему. То засмотришься на какую-нибудь иностранку, выгуливающую по Арбату свою маленькую собачонку, эдакую лохматую бестию, летевшую в наши снега через два океана, и невольно думаешь: зачем, почему? Так, бывало, удивишься этой тощей очкастой леди или фрау с мопсом на поводке, что не заметишь, как тебя остановит какой-нибудь арбатский фотограф, скорый на расправу с клиентом: шелк, шелк – и пропал человек! и выкладывает денежки за собственную фотографию! Арбат меня вообще удивляет! Толчея, суета, скопление разного рода людишек, цветные пятна картин, что рисуют здесь сонмы художников – так и рябит, так и стреляет в глаза разным смещением красок! Просто пятна и пятна, ничего вообще непонятно: ни где ты сам, ни что с тобой происходит и не сошел ли ты часом с ума, войдя ненароком в одну из этих безумных картин, в которой стоишь теперь эдаким маленьким скромным пятнышком, эдакой точкой на мощенной бульжником мостовой, которую вовсе и не замечает никто, ибо никого больше и нету вокруг, кроме этих цветных навязчивых пятен. Какая-то живописная карусель вместо вселенной! Впрочем, одно пятно мне все же известно. Одно, самое главное, как будто капля упавшей воды, разлившаяся на голове человека. Не скроешься от нее никуда, не спрячешься, не убежишь! Оно *везде*, везде преследует меня последние дни! И в этих длинных худых иностранках, и в ухмылках нахальных арбатских девиц, что тусуются вечно вокруг полоумных художников. Про последних же я не говорю вообще, ибо известно заранее, что все они с приветом и рисуют вечно под мухой. Вот и выходят пятна вместо людей. Впрочем, мое пятно особенное и отличное от других, пусть даже нарисованных гениальнейшей кистью. Все пятна как пятна, помельтешат и исчезают куда-то. А это нахальное, одинокое и враждебное, и даже сейчас, поздно вечером, стоит перед глазами, аккуратно нарисованное на стене. Как советовал доктор, попытаюсь уснуть, выпив на ночь таблетку снотворного. Хозяйка за стенкой сонно вертится и мешает сосредоточиться.

Май, 25, утром

С утра сегодня гулял по Арбату. Сначала зашел в небольшой магазинчик, торгующий разной затейливой дрянью, на манер старинных кастрюль, сковородок, обломанных позолоченных вилок, гипсовых статуэток, облезлых картин прошлого века, настенных часов с дурой-кукушкой, потрепанных книг и даже, представьте себе, бабушкиных обшарпанных граммофонов. Эдакой дрянью с одинокой медной трубой. Попросил продавца поставить пластинку и так расчувствовался от вальса бостона, что чуть было не купил себе и пластинку, и граммофон с ржавой трубой. Однако вовремя опомнился, сообразив, что деньги надо, по возможности, экономить. Выйдя из магазина, ходил долго рядом с лотками, торгующими шинелями, знаменами и нагрудными знаками разных славных полков. Не удержался и, облачившись в шинель важного генерала, сделал у фотографа снимок на память; память эта солидно ударила по моему кошельку: придется, очевидно, на время отказаться от ужинов; наткнулся потом на летные шлемы, расставленные на столах, как трофеи индейцев, а заодно уж и на костюм космонавта – совершенно целехонький, будто только что прилетевший со звезд; продавец уверяет, что он

был на Луне; хотел немедленно в него облачиться, благо, что фотографы на подхвате так и щелкали в нем разных желающих, да удержался, сообразив, что разорюсь окончательно. Потом проходил мимо разных киосков, набитых бутылками сладчайших оттенков; какое счастье, что я не употребляю спиртное! иначе бы не удержался и приобрел бы красивую этикетку; чувствую, что я порядочный мот и растратчик! не удержался и купил себе американскую жвачку, а потом уж заодно и «Сникерс» в блестящей обертке; сел на скамейку у знойного дерева в майской листве и долго в задумчивости жевал поочередно. Уже заканчивая свой утренний моцион, неожиданно наткнулся на девушку, играющую на маленькой дудочке (за деньги, конечно, и прямо посреди мостовой); кинул ей в мятую кепку несколько мятых купюр и, взволнованный мелодией и ее бледным видом (на взгляд ей не больше пятнадцати лет), опять задумался о самом важном на свете. Ну и полезли опять ко мне эти мерзкие пятна! Даже, представьте себе, увидел их в галерее деревянных матрешек, выставленных на продажу среди железных рублей с изображением Ильича, армейских фляжек и разных шкатулок из уральского камня (я, впрочем, в камнях разбираюсь немного, и камень этот мог быть откуда угодно). Так сильно разволновался, увидев шеренгу одинаковых деревянных голов, увенчанных этими страшными пятнами, что чуть было не опрокинул их вместе с лотком. Однако все же сдержался и решил ехать домой. Сегодня весь вечер запланировал думать о главном. От пятен, други мои (выражение чисто условно, ибо друзей я не имею), все на свете и происходит неправильно! Хозяйка за стенкой опять недовольно гремит.

25, вечер

Сегодня думал о девушке, которая играла на дудочке. Так и стоят перед моими глазами ее худые, тонкие пальчики, которыми зажимает она отверстие дудочки, и ее бледный детский рот (впрочем, может быть, что и очень детский, ибо во ртах детей и тем более девушек я разбираюсь по книжкам и чисто условно), которым исторгает она из дудочки нехитрые и тихие звуки. А вокруг – наглые взгляды сытой толпы! Все эти люмпены, все буржуа современные, все эти заокеанские фрау, перелетевшие к нам через два океана в обнимку со своими жирными мопсами! И эти грязные деньги, летящие свысока в ее мятую детскую кепку! Нет, не могу, не могу вынести этого ни днем, ни в преддверии ночи! Надо что-то решать, надо думать скорее за всех бездомных и несчастных детей. Думать о главном. О том, *кто виноват?* Виновато, безусловно, пятно: то самое, в виде капли упавшей сверху воды. Разлившееся нагло по голому лысому черепу. По тонким ручкам, играющим на потеху толпе; по бледным губам, дующим в нехитрую трубочку. Пятно, во всем виновато пятно! Во имя детей. Во имя того, чтобы они не страдали. Смыть его, и дело с концом. Одному, никому ничего не сообщая. Как Брут, разящий кинжалом злобного Цезаря. Как благородный защитник детства. От харь и морд, заслонивших собой майское солнце. О эврика! как же это прекрасно! Успеть бы только принять таблетку, а не то всю ночь будут лезть мерзкие пятна. Мне кажется, что у всех у них есть внизу мохнатые ножки. Как у гусениц, ползущих по зеленому стеблю. Как хорошо засыпать, додумавшись наконец-то *до главного*.

26, май, утро

Сегодня с утра все сорвалось. Встал с бодрой решимостью освободить всех от власти пятна. И особенно маленьких беззащитных детей с детскими ртами взрослых и развратных прелестниц (опять впадаю в ненужную книжность!). Быстро оделся и, как всегда по утрам, вышел на кухне за стаканом крепкого чая. Однако каково же было мое удивление, когда вместо чая и булочки, аккуратно завернутой в прозрачную пленку, обнаружил на кухне хозяйку с большим тюрбаном на голове из полотенца и выражением что-то мне объяснить (обычно

встает она гораздо позже моего утреннего моциона). Предчувствие не обмануло меня (я очень чувствителен ко всякого рода предчувствиям). «Доброе утро, Пелагея Матреновна, – сказал я ей, тщетно стараясь отыскать свой чай и заветную булочку. – Как вам спалось, не мешало ли давление воздуха? (Давление воздуха и магнитные бури – это ее обычный лексикон разговора)». Пелагея Матреновна, однако, совершенно проигнорировав мой вежливый интерес, спросила в упор и довольно враждебно: «Не будете ли вы, Гаврило Семенович, любезны ответить мне честно и прямо, куда исчезают с кухни мои куриные яйца?». – «Помилуйте, Пелагея Матреновна, – воскликнула я с искренним возмущением, – откуда ж мне знать, куда исчезают ваши куриные яйца?! Я, Пелагея Матреновна, яйцами вовсе и не интересуюсь ни капли!». – «А вот и неправда, Гаврило Семенович, – сердито ответила мне Пелагея Матреновна, – вот и неправда, что не интересуетесь вы моими куриными яйцами! Потому что вчера в холодильнике было девять куриных яиц, а сегодня осталось всего лишь четыре, да и те, извините, все мелкие и покрыты воздушными мушками!». – «Осмелюсь вам доложить, Пелагея Матреновна, – ответила я голосом солидного невмешательства, ибо предчувствовал уже разрыв и неприятную сцену, – осмелюсь вам доложить, что я не куртизанка какая-нибудь, чтобы ставить мушки на щечках и яйцах. Я, Пелагея Матреновна, солидный ученый, и мне не к лицу эти куртизанские глупости. Меня, Пелагея Матреновна, больше интересуют вопросы политики. Да, кстати, не успели ли вы просмотреть утренние газеты?». – «Не заговаривайте мне, Гаврило Семенович зубы! – завизжала на эту мою дипломатию Пелагея Матреновна. – Какие утренние газеты? Вы у меня яйца воруете!». Пришлось мне тут ответить Пелагее Матреновне, что никогда я в воровстве не был замешен; что в чем другом, может, и был замешен, вот хотя бы в проживании без прописки по разным квартирам, или в стремлении сделать всех богаче и лучше, пусть даже с помощью насильственной революции (непрерывно, однако, последней и окончательной во всемирном масштабе), но чтобы опускаться до кражи яиц – этого, извините, не было никогда; разве что случайно они куда завалились, и не могла ли Пелагея Матреновна их поискать на кухне внимательно; а то еще, сказал я напоследок, бывает, что мыши тоже воруют яйца. А Пелагея Матреновна на это мне закричала, что не будет она ничего на кухне искать, что мышей у ней отродясь не бывало, что были только лишь тараканы, которые, как известно, из-за малого роста яйца сдвинуть не могут, да и их извела она новым китайским средством, купленным недавно в аптеке, и, если я немедленно не съеду с квартиры, она позовет участкового, и тут уж мне несдобровать! Я ответил Пелагее Матреновне, что раз уж так она сильно настаивает, завтра утром я съеду от нее окончательно, хоть и не крал я этих несчастных яиц, разве что локтем случайно опрокинул; а газеты все равно надо читать! в газетах и о яйцах иногда пропечатывают! и о тараканах, и о мышах в московском метро. После чего, не выкушав чая и булочки, мимо разъяренной, как львица, хозяйки отправился опять бродить по Москве. Ну и, как всегда, занесло меня в кривые арбатские переулки!

26 мая, днем, на скамейке

Тут уж, надо сказать, пятна за меня взялись окончательно! Во-первых, представьте себе, стояла жара, как в Африке, или даже в джунглях Борнео (я частенько во сне путешествую в джунгли Борнео); во-вторых, я наткнулся впотьмах (из-за зноя было все как впотьмах) на одну из этих арбатских девиц, размалеванную и на таких высоченных шпильках, будто выше она вас на целую голову; я, конечно, за столкновение сразу же извинился, но в ответ мне были насмешки и издевательства, вроде того, что откуда таких на Арбат пропускают, так что ничего не осталось, как бежать вперед через джунгли толпы, и, представьте себе, даже свист и непристойные крики! Бежать, кстати, было непросто, ибо туфель один у меня прохудился, а починить его все не было времени. Кое-как добежав до скамейки, я уселся на нее с решимостью отдышаться и переждать расстройство вселенной. Проклятые пятна так и мелькали, так и сновали

вокруг! Видно не было ничего совершенно! Потом туман кое-как рассосался, вселенная вновь обрела очертания в виде Арбата, и я увидел человека с портфелем в руках. «Вы Гаврило Семенович?» – спросил он у меня. «Я Гаврило Семенович! – ответил я машинально, подозрительно оглядывая его нездешнюю внешность. – Простите, чем обязан вопросом?». «Помилуйте, какая официальность! – вскричал Профессор, ибо похож он был именно на профессора. – Какой вопрос, какие визиты, я, знаете ли, проездом из российской глубинки. Интересуюсь, знаете ли, разными российскими нравами. Происхождение семьи, частной собственности, государства; устройство разных частей вселенной; женским вопросом также интересуюсь весьма; да не изволите ли взглянуть, девочки маленькие на дудочке у вас прозябают: прямо, прошу прощения, посреди мостовой! Непорядок, уверяю вас, непорядок!». «Как, и вы изволили это заметить? – воскликнул я взволнованно по поводу девушки. – И вас проблема детей за живое задела?». – «Задела, задела! – ответил незнакомец со страстью. – Еще как задела, господин вы мой хороший и ненаглядный! (Признаться, манера эта его меня слегка покорила). До того, дорогой вы мой человек, задела, что и не знаю, как возвращусь обратно в провинцию!». – «Да не будете ли вы профессором университета? – спросил я, движимый надеждой и пониманием. – Не занимаетесь ли сами научной работой?». – «Занимаюсь, еще как занимаюсь! – воскликнул он радостно и зачем-то указал рукой на портфель. – Готовлю, изволите ли взглянуть, диссертацию о влиянии просвещения на жизнь и развитие детства. На всех этих, понимаете ли, беспризорных детей, поставленных в тупик нашей российской действительностью. На все эти дудочки, пальчики и недетские бескровные личики, на все эти, извините меня, недетские жадные рты. Ведь она (тут он наклонился мне к самому уху) не сегодня-завтра на панель может пойти. На развратное, так сказать, поприще падших женщин. А ведь этот допустить совершенно нельзя! Заслон этому, понимаете ли, немедленно надобно положить!». – «Истинно, истинно вы говорите! – вскричал я на эти слова незнакомца Профессора. – Истинно, и дай помощь вашей работе и диссертации! Но где же, извините меня, выход проблеме? в чем суть? *кто виноват?*». – «Как, вы разве, не знаете? – спросил он весьма удивленно. – Суть вся в пятне, и виновато, безусловно, оно. Мы у себя в провинции давно уже все это постигли. Постигли и осознали! да и научной работой постарались все подкрепить; жизнь без научной поддержки не стоит, дорогой вы мой, ни полфунта изюма!» – и он похлопал значительно по портфелю. «В пятне! – прошептал я испуганно. – Неужели вся соль в пятне? Неужели вы тоже считаете?...». – «Я не считаю, – зашептал он жарко на ухо, тревожно оглядываясь по сторонам, – я не считаю, Гаврило Семенович, а уверен окончательно и в научном аспекте». – «Неужели в научном аспекте?» – воскликнул я совершенно убито, ибо чувствовал уже страшное продолжение. «Истинно вам говорю, Гаврило Семенович, истинно: на вас надежда всей нашей российской провинции! если не избавите нас от власти пятна, то не избавит уже, извините, никто! Или вы, или ненавистная диктатура!». «Как, – сказал я одними губами, – неужели надо стрелять по пятну?». – «Нет, нет, – поспешно ответил смущенный Профессор, – зачем же, извините меня, примешивать граммы? Удар кинжалом тоже преотличное средство! Смоете его, так сказать, праведной кровью! Да ведь и Брут, если не ошибаюсь, больше все же уповал на кинжал?!». – «Вот оно как! – взглянул я решительно на Профессора, ибо мои ночные сомненья привели меня к тому же решению. – Вот оно как! смыть кровью на манер мстителя провинции? ну что ж, кинжал, так кинжал!...».

26, вечером, поздно

Профессора рядом со мной уже не было, а были сплошные мерзкие пятна, лица нахальных арбатских девиц, вопросы: «Куда направляешься, тунеядец?» и «Не на помойке ли откопал башмаки?», и даже: «Ваши документы, товарищ», а также мои гордые восклицания: «Я Гаврило Семенович, мне двадцать пять лет!». Потом было дребезжание электрички, бесконечная лестница на шестнадцатом этаже, напоминая хозяйки о нашем завтрашнем расставании

и мое презрительное молчанье на это. Рваные башмаки тоже решил игнорировать. Починю уж потом, когда смою пятно. Затем опять стали скрестись разные пятна, как будто предчувствуя завтрашнюю расправу над ними; возникла даже арбатская девушка, недетским ртом все норовившая дотронуться до моих пылающих губ (это, признаться, было излишне и мешало заснуть). Но, слава случаю, появился Профессор и отогнал все призраки своим черным портфелем. Как хорошо, что в мире есть диссертации!

27 мая, рано утром

Хозяйка уже поджидала меня в своем нахальном чепце из махрового полотенца, накрученном на жидкие волосы. Я решил не говорить с ней решительно ни о чем и гордо стал пить свой утренний чай, напевая что-то из арии Онегина с Ленским (я, впрочем, в музыке не разбираюсь совсем, и пенье мое означало всего лишь утренние размышления). Хозяйке, однако, мое утреннее веселье не понравилось совершенно, и она сердито спросила: «О чем это вы поете, Гаврило Семенович? Не думаете ли вы, что съедете от меня, не заплатив за квартиру?». – «Я, Пелагея Матреновна, пою от чувств и от утреннего настроения, – ответил я Пелагее Матреновне, невозмутимо жуя свой утренний хлебец; за хлебец, к счастью, у меня еще было заплачено, и Пелагея Матреновна обязана была мне его по утрам оставлять. – От счастья я пою, Пелагея Матреновна, – добавил я как можно более хладнокровно, ибо заметил уже на лице собеседницы признаки близкого гнева, очень меня забавлявшие, – от счастья и от избытка утренней свежести. Да, кстати, Пелагея Матреновна, не обратили ли вы внимания на сводку нынешних атмосферных явлений? Что нынче: ведро или дождь с градом до вечера?». – «Не пытайтесь, Гаврило Семенович, вывести меня из себя дурацкими замечаниями! – закричала мне Пелагея Матреновна. – Отвечайте лучше честно и прямо: собираетесь ли вы платить за прожитый месяц и за, извиняюсь, куриные яйца, которых недосчиталась я в своем холодильнике?». «Я, Пелагея Матреновна, как честный исследователь, всегда отвечаю честно и прямо, – сказал я тихо квартирной хозяйке, задумчиво глядя в окно и дожевывая московский хлебец (весьма, надо сказать, черствый и засохший в неизвестные времена, что доказывало недобросовестность Пелагеи Матреновны), чем окончательно вывел ее из себя. – Да, кстати, не слышали ли вы про крыс в московском метро? бывает, что людей затягивают в глубину, а не то, что куриные яйца!». Услышав про крыс, Пелагея Матреновна чуть в обморок не свалилась! Это-то и было мне надобно для предстоящего плана! «Нет, не могу, не могу я вас выносить, Гаврило Семенович! – воскликнула в сердцах Пелагея Матреновна. – Съезжайте немедленно, и ну вас к бесу с яйцами и месячной платой! Уже лучше яиц на кухне лишиться, чем жизни от вашего проживания!» – и, добавив заодно про метро и про крыс, налила себе в стакан валерьянки и убежала скорей стучать стульями и шкапами. Момент выдался подходящий! Помня о Бруте и об ударе кинжалом, я взял у Пелагеи Матреновны длинный нож для разделки селедки и, завернув его в кухонное полотенце, положил себе в дорожную сумку. «К бесу так к бесу!» – подумал я, навсегда покидая квартиру хозяйки. Пелагея Матреновна, кажется, что-то мне в ответ прокричала.

27 мая, днем, на Арбате

От этих пятен на Арбате было словно в тумане. К сожалению, мои таблетки внезапно закончились, и я уже не мог успокоиться на малое время. Зайдя в аптеку на каком-то углу, я закричал, чтобы мне выписали хотя бы пилюли, но там ответили, что пилюли, к сожалению, мне не помогут. Я было хотел ответить им решительно и саркастично, но тут на ухо мне зашептал голос Профессора (не знаю уж, как он рядом со мной очутился): «Вперед, Гаврило Семенович, нельзя терять ни минуты! Россия и все бледные дети решительно ждут от вас про-

должения! Не подведите, прошу вас, беспризорных детей!». «Да, да, – закричал я на это Профессору, – само собой, дети превыше всего!», И, вскочив на подножку трамвая, сделал ручкой оставшимся пятнам, которые, само собой разумеется, на маленьких ножках не могли с нами равняться. Профессор вскочил вместе со мной и, прижимая к себе черный портфель, стал восхищаться горизонтом Москвы: «Обратите внимание, Гаврило Степанович, как велико этот город раскинулся по полям и долам России! Как красят его проспекты и храмы, а также чудное благоуханье весны! Единственно, чего не хватает нашей столице, это, прошу прощения, заботы о детях! Вы уж не подведите нас, Гаврило Семенович, вы уж, голубчик наш, будьте Бонапартом отечества! А также Брутом, если вам это будет под силу!». – «На благо отечества горы готовы вспять повернуть!» – ответил я, чувствуя слезы и жалость ко всем. Тут как раз мы подрулили к Арбату и, ловко соскочив с подножки трамвая, бросились прямо в горнило событий. «Сюда, сюда, Гаврило Семенович, – услужливо помогал мне за локоть Профессор. – Еще немного, Гаврило Семенович, еще момент, и дети будут вам благодарны! Да, кстати, изволили вы прочитать сегодняшней номер утренней прессы?». – «К черту прессу! – закричала я на это Профессору, – не место здесь о статейках беседовать! Показывайте лучше зачинщика беспорядков, а то, извиняюсь прискорбно, я долго без таблеток протянуть не смогу! Короче говоря, где пятно? Где Цезарь? На кого обнажать мне дамасскую сталь?». – «А вот он, вот он, Гаврило Семенович, извольте взглянуть налево и немножко направо; у, душегуб! у, развратитель невинного детства! колите его, Гаврило Семенович, колите, а я пока в сторону отойду!».

27 мая, Арбатская мостовая, пятно стояло, претворяясь невинным

Вы не поверите, но развратитель стоял, будто и не касалось его! Я даже сам поначалу подумал, уж не сошел ли он часом с ума от тьмы всех этих соvrащенных детей, от бледных недетских ртов, похотливо приоткрытых к горнилу разврата. Я даже так поначалу опешил, что некоторое время оторопело стоял, саркастически разглядывая его наглую физиономию. Даже почувствовал нагретость камней через просящий каши башмак. Вокруг, понятное дело, кричали вовсю девицы: «Милиция! караул, убивают! скорее милицию на Арбат!». Потом действительно засвистел сигнал милицейского, а я все глядела в лысую голову, будто в зеркало, и в это пятно, которое все разрасталось, все разрасталось, все чавкало и жрало вокруг, так что уже торчали у него изо рта одни только ручки беззащитных беспризорных детей, и не осталось уж на Руси детского чистого и ясного взгляда, а если и был где такой чистый голубой детский взгляд, то подбирались прямо к нему мохнатые коварные щупальца, похожие на щупальца гусеницы или осьминога, а наверху, на месте развратной главы, росло все и пухло ненавистное большое пятно. Как будто капля воды, разлившаяся на лбу человека. «Чего же вы ждете, Гаврило Семенович? – раздался над ухом голос Профессор. – Колите его быстрее в самое сердце, колите, а не то милиция уж на подходе!». Отступать было некуда, я вздохнула, раскрыл дорожную сумку, и, вытащив заветный кинжал, кольнул пятно под самое сердце. И, пока ножки его шевелились, бессильно повиснув в виде дождя, а само оно съеживалось и оседало, я услышал в голубом майском небе пение чистых ангельских голосов. До того красиво пели они, до того серебряные колокольчики и литавры разливались в глубине бытия, что плевать мне было и на милицию, и на ропот жадной толпы, что стояла вокруг, восхищенно внимая случившемуся; внимая возмездию. Плевать мне было уже на все, ибо миссия моя наконец-то закончилась. Мне кажется, что и Брут непременно должен был слышать ангельские колокольчики.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.